

8(c)P

A 4b

5352

указанного здесь срока.

~~401 28~~
429 28 $\frac{1}{2}$
833 28 $\frac{1}{2}$
818 $\frac{13}{100}$
800 $\frac{1}{100}$

Дела Пана Иванова
и др. с. 100-101



891
А.Уб.

В добром
деніи

Г. В. Александровскій.

891

А46

ЧТЕНІЯ

ПО

НОВѢЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

Выпускъ первый.

- 1) Введение въ исторію новѣйшей русской литературы.
- 2) Бѣлинскій.
- 3) Тургеневъ.
- 4) Гончаровъ.
- 5) Островскій.
- 6) Некрасовъ.

*Паче всего люби родную литературу...
Щедринъ.*

Изданіе четвертое, исправленное и значительно дополненное.

КАМЫШЛОВСКАЯ
РАЙОННАЯ

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія во второмъ изданіи допущена
въ ученическія старшаго возраста бібліотеки среднихъ учебныхъ заведеній
и въ бесплатныя народныя бібліотеки и читальни.

Продается въ книжныхъ магазинахъ Н. Я. Оглоблина.

КІЕВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Крещатикъ, № 33. Екатерининская, № 4.

КІЕВЪ.

Типографія Первой Кіевской Артели Печатнаго Дѣла. Трехсвятительская, 5.



СОДЕРЖАНІЕ.

Введеніе въ исторію новѣйшей русской литературы. с. 1—27

Значеніе поэзіи для современнаго общества; роль ея въ жизни русской интеллигенціи. Краткій очеркъ развитія русской поэзіи съ XVIII вѣка до Пушкина.

Пушкинъ: его творчество до 1824 года; самобытная струя въ творествѣ этого періода и переоцѣнка литературнаго наслѣдія прошлаго; художественный реализмъ у Пушкина; его взгляды на поэта и поэзію; отзывчивость на явленія современности; гуманность его творчества; въ немъ коренятся зачатки многихъ послѣдующихъ явленій русской литературы. Значеніе Гоголя въ дѣлѣ водворенія въ русской литературѣ художественнаго реализма, изображенія „пошлости пошлаго человѣка“ и пробужденія общественнаго самосознанія; взгляды его на поэта и его назначеніе. По какому пути пошла русская художественная литература послѣ Гоголя.

Отличительныя черты духовной организаціи поэта, избравшаго путь реально-художественнаго творчества. Процессъ созданія поэтическихъ произведеній: художественный идеаль; роль мышленія въ поэтическомъ творествѣ. Какъ поэты накопляютъ матеріаль для создаваемыхъ ими образовъ. Душевные мотивы, дающіе то или иное направленіе творческой мысли писателя. Значеніе въ дѣлѣ творчества міровоззрѣнія автора. Взгляды Пушкина и Гоголя на процессъ реально-художественнаго творчества. Общіе выводы изъ рассмотрѣнія творческаго процесса русскихъ писателей реально-художественнаго направленія.

В. Г. Бѣлинскій.

с. 29—50

Отличительныя черты личности Бѣлинскаго. Важнѣйшіе періоды жизни Бѣлинскаго, отразившіеся на его характерѣ и міровоззрѣніи. „Литературныя мечтанія“ и ихъ значеніе.

Роль Бѣлинскаго въ дѣлѣ разработкы исторіи русской литературы. Бѣлинскій, какъ истолкователь Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Кольцова. Отношеніе его къ натуральной школѣ. Отзывы Бѣлинскаго о первыхъ произведеніяхъ писателей 40-хъ

годовъ. Бѣлинскій—создатель русской критики. Роль Бѣлинскаго въ развитіи русскаго общественнаго самосознанія.

И. С. Тургеневъ с. 51—115

Общая характеристика таланта Тургенева. с. 53—55

Особенности ума Тургенева. Широкое образованіе его. Гуманность. Способность воспроизводить жизнь, наблюдаемую въ дѣйствительности. Объективность. Умѣніе ловить едва нарождавшіеся типы и настроенія.

Записки охотника. с. 55—66

Условія дѣтства Тургенева, способствовавшія пробужденію въ немъ симпатій къ народу. „Аннибаловская клятва“ Тургенева. Исторія появленія „Записокъ охотника“. Анализъ сценъ, изображающихъ бѣдственное положеніе крестьянъ подъ властью помѣщиковъ. Нравственно-прекрасныя личности изъ народа въ изображеніи Тургенева. Общественное и историко-литературное значеніе „Записокъ охотника“. Значеніе повѣстей: „Муму“ и „Постоялый дворъ“.

Причины появленія „лишнихъ людей“ въ русской жизни. Гамлетъ Щигровскаго уѣзда и Чулкатуринъ. с. 67—76

Реакція во вторую половину царствованія Александра I: запрещеніе учиться въ германскихъ университетахъ; разгромъ Магницкимъ Казанскаго университета; положеніе университетской науки и профессоровъ въ другихъ университетахъ; положеніе низшаго образованія; цензурныя строгости. Усиленіе реакціи послѣ 14 декабря 1825 года. Цензурные уставы 1826 и 1828-го годовъ. Усиленіе реакціоннаго настроенія послѣ 1830-го года. Бутурлинскій комитетъ 1848-го года и его дѣятельность. Факты изъ эпохи цензурнаго террора. Теорія официальной народности. „Выборныя мѣста изъ переписки съ друзьями“, какъ иллюстрація могущественнаго распространенія этой теоріи. Вліяніе реакціи 30-хъ и 40-хъ годовъ на общество. Гамлетъ Щигровскаго уѣзда и Чулкатуринъ, какъ продуктъ эпохи.

Рудинъ. с. 76—82

Различные взгляды критики на Рудина и причины этого. Чѣмъ объясняется двойственность впечатлѣнія отъ Рудина. Сущность міровоззрѣнія Рудина; склонность его къ общимъ отвлеченнымъ разсужденіямъ; краснорѣчіе его; самобичеваніе; отношеніе къ любви; разладъ между словомъ и дѣломъ и причины этого разлада. Связь его съ эпохой. Культурно-историческое значеніе Рудинныхъ.

Лаврецкій. с. 82—86

Воспитаніе Лаврецкаго, какъ типическая черта эпохи. Попытки заняться самообразованіемъ. Культъ чувства любви. Неодготовленность къ жизненной дѣятельности. Стремленіе сблизиться съ родной народной жизнью.

Славянофильство и западничество и его отраженіе въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“ Тургенева. с. 86—91

Гдѣ нужно искать корней славянофильства. Условія, содѣйствовавшія развитію славянофильскаго ученія въ 30-е и 40-е годы. „Философическое письмо“ Чаадаева и его значеніе для развитія славянофильства. Сущность ученія славянофиловъ и его значеніе. Что такое западничество. Какъ отразились эти общественно-политическія міровоззрѣнія русской интеллигенціи 30-хъ и 40-хъ годовъ въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“ Тургенева.

Возрожденіе русскаго общества послѣ Крымской войны.

Нигилизмъ. Базаровъ. Ситниковъ. Кукшина. с. 91—102

Отрезвляющее дѣйствіе Севастопольскаго пораженія. Оживленіе въ литературѣ. Критика господствовавшаго строя жизни. Увлеченіе матеріализмомъ. Нигилизмъ, какъ противовѣсъ реакціи предшествовавшаго періода. Гдѣ нужно искать корней нигилизма. Враждебное отношеніе нигилистовъ къ людямъ 40-хъ годовъ и причины его. Разнообразные толки, вызванные появленіемъ „Отцовъ и Дѣтей“. Базаровъ, какъ разночинецъ и представитель нигилистическаго міровоззрѣнія: отрицаніе принциповъ, любви, искусства, чувства природы, различія между людьми; причины базаровскаго отрицанія. Противорѣчія, въ которыя впадаетъ Базаровъ. Развѣчаніе въ Базаровѣ нигилистическаго міровоззрѣнія. Отношеніе Тургенева къ Базарову. Значеніе романа: „Отцы и Дѣти“.

Общественныя движенія въ 70-е годы.

Неждановъ. Соломинъ. с. 102—107

Что такое „кающийся дворянинъ“ и причины возникновенія этого типа. Увлеченіе социализмомъ. „Хожденіе въ народъ“ съ цѣлью произвести революцію. Отношеніе Тургенева къ русскому революціонному движенію 70-хъ годовъ прошлаго вѣка. Неждановъ, какъ иллюстрація идей Тургенева о „хожденіи въ народъ“ съ цѣлью революціонной пропаганды. Художественные промахи въ образѣ Нежданова. Соломинъ, какъ положительный типъ. Симпатичныя стороны его личности. Его отношеніе къ революціи. Общественная программа Соломина. Отсутствие художественной правды въ образѣ Соломина. Общія заключенія о „Нови“.

Русская женщина въ изображеніи Тургенева. с. 107—115

Два основныхъ женскихъ типа, встрѣчающіеся въ исторіи человѣчества. Наташа: ея стремленіе разобраться въ окружающей обстановкѣ; порывы къ лучшему существованію; отношеніе къ Рудину; неудовлетворенность жизнью. Лиза: природное религіозное чувство; вліяніе окружающихъ условій на его развитіе; мистическая любовь къ Богу; чувство долга; болѣзненно-чуткая совѣсть; протестъ противъ окружающей дѣйствительности во имя религіознаго чувства. Елена: природныя свойства ея; вліяніе окружающей жизни; неудовлетворенность жизнью; почему Елена полюбила Инсарова; общественныя начала въ Еленѣ. Маріанна: отличительныя особен-

ности ея натуры; альтруистическія настроенія ея; стремленіе прійти на помощь народу; любовь къ Нежданову; Маріанна—наиболѣе прекрасный женскій образъ у Тургенева. Тургеневъ, какъ пѣвецъ женской любви. Общее значеніе дѣятельности Тургенева.

И. А. Гончаровъ.

с. 117—143

Условія жизни Гончарова, способствовавшія изученію провинціального общества. Отличительныя черты его таланта. с. 119—121

Почему Гончаровъ прекрасно зналъ бытъ и типы провинціального дворянства. Способность его писать только ту жизнь, которую онъ хорошо изучилъ. Умѣніе изображать едва уловимыя детали жизни. Гуманность. Юморъ.

Дореформенная консервативная помѣщичья жизнь въ изображеніи Гончарова. с. 122—126

Классификація Гончаровымъ созданныхъ имъ образовъ; распредѣленіе ихъ по важнѣйшимъ періодамъ русскаго общественнаго развитія. Дореформенная гончаровская Русь: застой мысли; взглядъ на трудъ; Татьяна Марковна Бережкова; Маринька и Викентьевъ; романтическая струя въ настроеніи дореформеннаго общества.

Обломовъ, какъ герой переходной эпохи. с. 126—134

Значеніе образа Обломова. Положительныя стороны личности Обломова. Причины его духовнаго умиранія, какъ онѣ раскрываются въ „Снѣ“: вліяніе воспитанія и общаго строя жизни въ раннемъ дѣтствѣ на Обломова; годы ученія у Штольца; университетскіе годы. Что такое обломовщина.

Райскій, Ольга, Вѣра.

с. 134—140

Черты Райскаго, родняція его съ дореформенной русской жизнью; новыя вліянія въ немъ; Райскій, какъ типъ переходной эпохи. Ольга Ильинская: ея главнѣйшія свойства; чѣмъ объясняется ея неудовлетворенность жизнью замужемъ. Вѣра: ея духовная организація; отношеніе ея къ старымъ укладамъ жизни; выработка міровоззрѣнія; встрѣча съ Маркомъ Волоховымъ; причины пораженія Вѣры.

„Новые люди“ въ изображеніи Гончарова. с. 140—143

Почему „Новые люди“ не удались Гончарову. Художественные промахи въ изображеніи Штольца, Тушина и Волохова. Значеніе романовъ Гончарова.

А. Н. Островскій.

с. 145—178

Общая характеристика и значеніе творчества Островскаго.

с. 147—152

Островскій, какъ создатель русской самобытной реально-художественной драмы. Техника драмы у Островскаго. Обстоятельства жизни Островскаго, способствовавшія изученію разнообразныхъ сторонъ русской дѣйствительности. Широкая картина жизни, отразившаяся въ творествѣ Островскаго. Исторія появленія въ свѣтъ первой его комедіи.

Самодурство въ изображеніи Островскаго. Гордѣй Торцовъ.

с. 152—156

Общее впечатлѣніе отъ пьесъ Островскаго изъ купеческой жизни. Самодурство. Гордѣй Торцовъ: его грубость, черствость сердца, деспотизмъ, самомиѣніе; какъ отразилась цивилизація на Гордѣѣ Торцовѣ.

Характеры, сложившіеся подъ вліяніемъ самодурства. Пелагея Егоровна, Любовь Гордѣевна, Митя.

с. 156—158

Симпатичныя качества Пелагеи Егоровны. Неспособность противостоять самодурству мужа. Любовь Гордѣевна и Митя, какъ продуктъ семейнаго деспотизма и самодурства.

Любимъ Торцовъ.

с. 158—161

Исторія Любима Торцова до появленія его въ комедіи. Положительныя черты его. Значеніе этого образа. Бытовая сторона жизни въ комедіи: „Бѣдность не порокъ“.

Общая картина жизни, изображенная въ „Грозъ“ Островскаго.

с. 161—162

Самодурство въ „Грозѣ“, какъ результатъ домостроевскихъ идеаловъ жизни. Семейный деспотизмъ и невѣжество, какъ отличительныя черты жизни, изображенной въ „Грозѣ“.

Дикой, Кабанова, Тихонъ.

с. 163—165

Самодурство Дикого; его жадность къ наживѣ; склонность къ плутнямъ; предклоненіе передъ установленными формами жизни. Кабанова, какъ выразительница домостроевскихъ принциповъ жизни; ея самодурство и семейный деспотизмъ. Полная обезличенность Тихона.

Катерина.

с. 166—170

Страстность ея натуры. Религіозное чувство Катерины. Неудовлетворенность жизнью Катерины съ выходомъ ея замужъ. Любовь къ Борису, и что она даетъ

Катеринѣ. Покаяніе Катерины. Попытка вырваться изъ семьи мужа. Смерть Катерины. Катерина—жертва самодурства и деспотизма.

Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ. с.159—160

Мрачныя предчувствія, посѣщающія Кабанову. Просвѣщеніе, какъ сила, которая сокрушитъ „темное царство“.

Дореформенное чиновничество въ „Доходномъ мѣстѣ“
Островскаго. с.171—174

„Доходное мѣсто“, какъ отраженіе духовнаго возрожденія русскаго общества послѣ Крымской войны. Вышневицкій: его „практическій“ взглядъ на службу; отношеніе къ общественному мнѣнію. Юсовъ: его прошлое; отношеніе къ образованнымъ чиновникамъ. Бѣлогубовъ. Дореформенные чиновники въ ихъ служебныхъ отношеніяхъ; страхъ ихъ передъ новымъ поколѣніемъ.

Жадовъ с.174—178

Его взгляды на службу и жизнь. Слабыя стороны Жадова. Любовь къ Полинѣ. Семейная жизнь Жадова. Коллизія семейныхъ отношеній и общественныхъ обязанностей въ душѣ Жадова. Нравственное паденіе Жадова. Въ чемъ онъ нашелъ для себя поддержку. Значеніе типа Жадова.

Н. А. Некрасовъ. с.179—212

Биографія Некрасова. с.181—194

Тяжелыя впечатлѣнія ранняго дѣтства: семейный раздоръ; картины народнаго страданія. Годы ученія въ гимназій и университетѣ. Безвыходное матеріальное положеніе. Первые литературные опыты. Вліяніе Вѣлинскаго. Душевный разладъ Некрасова. Успѣхъ его произведеній. Смерть. Общія выводы изъ разсмотрѣнія жизни Некрасова.

Разборъ стихотвореній Некрасова и значеніе
его поэзіи. с.194—212

Односторонность ходячихъ сужденій о творчествѣ Некрасова. Стихотворенія автобіографическаго характера и значеніе ихъ. Произведенія, характеризующія настроеніе людей 40-хъ годовъ. Дореформенная народная жизнь въ поэзіи Некрасова. Стихотворенія, посвященныя изображенію народной жизни послѣ освобожденія крестьянъ. Общія выводы о Некрасовѣ, какъ пѣвцѣ народнаго горя. Городская жизнь у Некрасова. Значеніе творчества Некрасова.



Введение въ исторію новѣйшей русской литературы.

Область поэзіи, въ большей или меньшей степени, близка всякому. Невозможно представить себѣ человѣка, на котораго это искусство въ той или другой формѣ не имѣло-бы могучаго воздѣйствія. Даже первобытный дикарь, съ едва уловимыми зародышами возвышенныхъ свойствъ человѣческаго духа, и тотъ подчиняется его вліянію въ безыскусственной религіозной, бытовой или военной пѣснѣ. Чѣмъ болѣе духовно развитъ человѣкъ, чѣмъ отзывчивѣе становится его сердце, тѣмъ болѣе доступны ему наслажденія поэзіи, тѣмъ сильнѣе поддается онъ обаянію художественной мысли. Это есть тотъ храмъ, въ которомъ истомленное жизненной борьбой культурное человѣчество нашихъ дней отдыхаетъ отъ заботъ, освѣжается духовно, почерпаетъ новыя силы, приобрѣтаетъ угасшую подъ чась вѣру въ добро и правду. Но если это величайшее изъ искусствъ имѣетъ огромное значеніе для всего образованнаго человѣчества, то въ жизни русскаго интеллигентнаго общества оно, въ связи съ литературной критикой, занимаетъ первое мѣсто въ ряду другихъ факторовъ нашего духовнаго развитія. Литературѣ мы обязаны пробужденіемъ сознательной мысли; на ней мы часто вырабатываемъ свое міровоззрѣніе; очарованные волшебнымъ словомъ поэта, мы не разъ забываемъ весь міръ и себя, погружившись въ духовное созерцаніе его дивныхъ созданій; къ нему прибѣгаемъ мы за помощью въ минуты душевнаго разлада, гнетущаго одиночества, разочарованія въ людяхъ и жизни. Литература—это наша наука, религія, философія, идеалы личной и общественной жизни, это—наше все!

Такое господствующее значеніе въ русской жизни литература приобрѣла однако недавно. Несмотря на то, что она имѣетъ за собою девять вѣковъ существованія, только въ послѣднія 60—70 лѣтъ проявилось столь мощное вліяніе ея на нашу интеллигенцію. Въ это же время она заняла одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду старѣйшихъ литературъ Запада. Отсюда понятенъ тотъ интересъ, какой представляетъ знакомство съ ходомъ ея развитія, начиная съ 40-хъ годовъ прошлаго столѣтія.

Ея колоссальный ростъ съ этого времени коренится, тѣмъ не менѣе, въ явленіяхъ прошлаго. Благодаря счастливому стеченію обстоятельствъ, въ первые четыре десятилѣтія XIX-го вѣка завершилось развитіе тѣхъ ея свойствъ, въ которыхъ кроется секретъ ея успѣха какъ въ Россіи, такъ и въ Западной Европѣ.

Прослѣдить за постепеннымъ ростомъ этихъ свойствъ, показать ихъ корни въ прошломъ—это значитъ выяснитъ ихъ историческую необходимость, доказать цѣлесообразность ихъ существованія.

Наша свѣтская литература началась, какъ извѣстно, съ эпохи Петра Великаго; съ этого времени начнемъ и мы свой обзоръ, т. е. будемъ слѣдить за тѣмъ, какъ, несмотря на многія неблагопріятныя условія, развивались здоровыя ростки нашей поэзіи, иные изъ которыхъ восходятъ еще къ древнѣйшему періоду русской литературы.

Могучій геній Петра, прорубившій, по счастливому выраженію поэта, окно въ Европу, совершилъ удивительное въ исторіи человѣчества дѣло, въ теченіе какихъ нибудь 25—30 лѣтъ направивъ по новому руслу, едва опредѣлившемуся въ предшествовавшій періодъ русской исторіи, государственную жизнь и культуру многомилліоннаго народа. Обильнымъ потокомъ хлынула въ Россію западно-европейская цивилизація. Наиболѣе чуткіе изъ русскихъ людей, раздѣлявшіе идеи царя-преобразователя, ясно поняли, какъ далеко отстала ихъ родина отъ западныхъ соседей. Учиться, учиться всему у нихъ—стало девизомъ какъ царя, такъ и его сподвижниковъ. И вотъ Русь уподобилась, по выраженію извѣстнаго историка С. М. Соловьева, громадной школѣ, одухотворяемой геніемъ великаго державнаго учителя. Конечно, такой поворотъ въ жизни Россіи не могъ не отразиться кореннымъ образомъ на ея литературѣ. Дѣйствительно, мы замѣчаемъ, прежде всего, появленіе цѣлаго ряда переводныхъ, а затѣмъ и оригинальныхъ сочиненій по различнымъ отраслямъ знаній свѣтскаго характера; сочиненія эти положили у насъ начало свѣтской литературѣ, которая въ короткое время царствованія Петра Великаго, сравнительно, очень разрослась и количественно и качественно; вмѣстѣ съ тѣмъ, у наиболѣе даровитыхъ свѣтскихъ писателей, сообразно съ общимъ направленіемъ русской жизни, замѣчается стремленіе сравняться съ представителями западно-европейской литературы усвоеніемъ какъ формы, такъ и содержанія ихъ творчества. Отсюда подчиненіе нашей поэзіи западно-европейскимъ вліяніямъ, проходящее черезъ весь XVIII-й вѣкъ. Главнѣйшія литературныя теченія Запада, какъ въ зеркалѣ, отражаются въ творчествѣ нашихъ писателей: ложный классицизмъ, нашедшій себѣ ревностныхъ и многочисленныхъ послѣдователей въ эпосѣ, лирикѣ и драмѣ, смѣняется сантиментализмомъ, параллельно съ которымъ проникаетъ къ намъ и нѣмецкій романтизмъ,—и такъ вплоть до второй четверти XIX столѣтія, когда пышнымъ цвѣтомъ расцвѣлъ геній Пушкина. Такимъ образомъ, наша поэзія на цѣлое столѣтіе попадаетъ на выучку западно-европейскимъ литературнымъ теченіямъ.

Однако, несмотря на сильное вліяніе литературныхъ авторитетовъ Запада, наши писатели на протяженіи XVIII вѣка успѣваютъ постепенно освободиться отъ иноземнаго вліянія и прививаютъ русской литературѣ такія черты, которыя совсѣмъ не были свойственны произведеніямъ ихъ западныхъ учителей. Такъ на примѣръ, въ самый разгаръ увлеченія у насъ ложнымъ классицизмомъ, „Россійскій Рассинъ“ Сумароковъ, рабски подражавшій Корнелю, Рассину и Вольтеру, допускаетъ довольно смѣлое нарушеніе установившагося на Западѣ обычая—чер-

пать сюжеты для трагедій изъ жизни и сказаній древнихъ народовъ и беретъ матеріалъ для этого рода произведеній изъ родной исторіи, иногда очень недалеко, какъ въ „Дмитріи Самозванцѣ“, удаляясь въ глубь вѣковъ отъ современности. Еще болѣе разительный примѣръ отступленія отъ установленныхъ литературныхъ нормъ являетъ собою творчество Державина, дерзнувшаго, вопреки всякимъ теоріямъ, соединить, казалось, несоединимые до тѣхъ поръ виды поэзіи, какъ ода и сатира, и „забавнымъ русскимъ слогомъ“, или, по терминологіи XVIII-го вѣка „подлыми“ словами, поколебать мнимое величіе ложноклассической музы. Въ отмѣченныхъ новшествахъ Сумарокова и Державина безсознательно сказано столь характерное для русскаго писателя стремленіе сблизить литературу съ русской жизнью, сдѣлать ее силой, могущей вліять на современность.

Параллельно съ постепеннымъ освобожденіемъ отъ иноземнаго вліянія и отыскиваніемъ самобытныхъ путей для творчества идетъ развитіе другой черты, проявившейся въ русской литературѣ еще въ первые вѣка ея существованія. Черта эта заключается въ чисто органическомъ стремленіи нашихъ писателей вліять своей дѣятельностью на окружающую жизнь, провозглашать въ той или другой формѣ, тѣмъ или инымъ способомъ свое учительное слово, „глаголомъ жечь сердца людей“. Отмѣченная особенность настолько ярко бросается въ глаза въ творествѣ писателей XVIII-го вѣка, что на ней слѣдуетъ остановиться нѣсколько подробнѣе. Такъ, первый по времени поэтъ новой русской литературы князь Антиохъ Кантемиръ, прекрасно изучившій древнюю классическую поэзію, знакомый съ различными видами ея, выбираетъ для самостоятельнаго творчества форму сатиры, какъ наиболѣе удобный видъ поэзіи для воздѣйствія на окружающее общество. „Россійскій Пиндаръ“ Ломоносовъ, страстный публицистъ, всю жизнь ратовавшій противъ „недоброхотовъ россійскихъ наукъ“, главнѣйшею цѣлью своей поэтической дѣятельности ставитъ распространеніе мысли о пользѣ просвѣщенія и умудряется съ успѣхомъ проводить ее даже въ такой, повидимому, мертвой поэтической формѣ, какъ написанная по всѣмъ правиламъ ложноклассическая ода. Чтобы легче было вліять на современную жизнь, Державинъ, не смогшій воплоти отрѣшиться отъ господствовавшаго направленія въ области лирики—псевдоклассической оды, вводитъ въ нее сатирическій элементъ и, облекая свои чувства въ форму оды-сатиры, то превозноситъ гуманныя свойства Екатерины II, то громитъ порочныхъ ея вельможъ. Сумароковъ устами героевъ своихъ трагедій старается внушить современникамъ здравыя понятія о различныхъ явленіяхъ жизни, выработанныя французской освободительной философіей XVIII-го вѣка. Такъ даже тѣ писатели, которые выбрали для себя наиболѣе оторванную отъ современной жизни форму поэтическаго творчества, какъ ода и трагедія сумѣли, несмотря на гнетъ ложноклассической теоріи, вліять при помощи своихъ произведеній на окружающее ихъ общество.

Однако огромное большинство литературныхъ дѣятелей XVIII-го вѣка, особенно во вторую половину его, въ царствованіе Екатерины II, останавливается на тѣхъ видахъ словесныхъ произведеній, которые даютъ возможность безъ всякаго приспособленія, непосредственно вліять на жизнь. Сатира различныхъ видовъ, басня, комедія издавна были такими формами, и наши писатели охотно берутся за нихъ, давая тѣмъ исходъ все назрѣвающей въ русской поэзіи потреб-

ности откликаться на запросы текущей жизни. Вспомним хотя бы небывалый рост сатирической литературы въ пестидесятые и семидесятые годы XVIII-го столѣтія, комедіи Фонвизина, Сумарокова, Екатерины II, басни, писавшіяся почти каждымъ писателемъ этого вѣка, и мы поймемъ, какъ мощно стремилась наша поэзія, при всемъ несовершенствѣ литературнаго языка и ничтожной цѣнности ея въ художественномъ отношеніи, стать живой силой жизни, направлять ее къ лучшимъ, болѣе возвышеннымъ цѣлямъ.

На ряду съ этимъ основнымъ свойствомъ русской литературы въ позапрошломъ вѣкѣ выступаютъ въ поэтическихъ произведеніяхъ проблески реализма, который все болѣе и болѣе влечетъ къ себѣ и читателей и авторовъ. Чѣмъ, какъ не безсознательнымъ влеченіемъ къ художественному реализму, объясняется своеобразный языкъ, соотвѣтствующій разговорной рѣчи, Кутейкина и Вральмана у Фонвизина, „подлыя“ слова въ одахъ Державина, цѣлыя изреченія, прибаутки и народныя пѣсни въ комической оперѣ Аблесимова: „Мельникъ колдунъ, обманщикъ и свать“.

Наконецъ, въ этомъ же вѣкѣ опредѣленно заявляютъ о себѣ еще два свойства нашей литературы: вниманіе къ народной жизни, которому суждено было позднѣе, въ XIX-мъ столѣтіи, стать однимъ изъ могущественнѣйшихъ источниковъ вдохновенія русскихъ поэтовъ, и, на ряду съ этимъ, забота о введеніи въ литературу національнаго элемента. Обѣ эти черты, взаимно переплетаясь, такъ что за ними удобнѣе всего слѣдить одновременно, къ концу XVIII-го вѣка очень опредѣленно сказываются въ дѣятельности нѣкоторыхъ писателей. Еще Тредьяковскій, при всемъ его увлеченіи французскимъ классицизмомъ, подъ влияніемъ котораго онъ создалъ первую у насъ теорію псевдоклассическаго творчества, обратился къ народнымъ пѣснямъ, чтобы тамъ найти настоящую форму русскаго стиха. Сумароковъ, чуть ли не самый правовѣрный послѣ Ломоносова ложноклассикъ, создаетъ пѣсни въ народномъ стилѣ, а такіе писатели, какъ Аблесимовъ и мало извѣстный Василій Майковъ, сумѣли довольно удачно передать многія черты народнаго быта, первый—въ комической оперѣ „Мельникъ“, второй—въ поэмѣ „Елисей, или раздраженный Вахъ“. Съ другой стороны выступилъ передъ глазами читателей современный народный бытъ въ сатирическихъ журналахъ Новикова и въ „Путешествіи изъ Петербурга въ Москву“ Радищева. Здѣсь уже прямо ставился вопросъ объ основномъ злѣ русской жизни—крѣпостномъ правѣ. Возмущенное чувство этихъ благородныхъ дѣятелей рисуется страшныя картины народной бѣдности, невѣжества и страданія. Наряду съ горячей проповѣдью челоуѣколюбія Новикова и Радищева, которые, впрочемъ, особенно послѣдній, жестоко поплатились за слишкомъ неумѣренный для того времени тонъ обличенія, въ послѣднюю четверть XVIII-го вѣка интересъ къ народу выражался и въ другой нѣсколько своеобразной формѣ—въ большомъ распространеніи различныхъ сборниковъ народныхъ пѣсенъ лирическаго и эпическаго характера и въ попыткѣ нѣкоторыхъ писателей, какъ, напримѣръ, Дмитріева и Карамзина, подражать народному безыскусственному творчеству.

Всѣ указанныя особенности русской литературы, развивавшіяся въ ней, въ значительной мѣрѣ, независимо отъ иностранныхъ вліяній, постепенно содѣйствовали росту ея самобытности и расширяли кругъ ея содержанія. Появленіе этихъ осо-

бенностей нужно признать тѣмъ болѣе знаменательнымъ, что роль писателя въ обществѣ и взгляды на поэзію даже у лучшихъ представителей литературы были таковы, что почти исключали возможность развитія въ литературѣ живительнаго единенія съ современностью и воздѣйствія на эту послѣднюю. Каково было общественное положеніе писателя, можно судить по горемычной долѣ Василя Кирилловича Тредьяковскаго, выносившаго не разъ незаслуженныя оскорбленія, вплоть до избіенія палкою, отъ сильныхъ міра, ставившихъ ни во что его знанія и литературную дѣятельность. Что касается до теоретическихъ взглядовъ на значеніе поэзіи въ періодъ ложнаго классицизма, то они вполне опредѣляются, кромѣ извѣстной похвалы Державина, Екатеринѣ за то, что она цѣнитъ поэзію, „какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ“, замѣчаніемъ того-же Тредьяковскаго, изображавшаго поэзію, какъ пріятную забаву, которая можетъ служить въ литературѣ „фруктами и конфетами на богатый столъ по твердыхъ кушаніяхъ“.

Тѣмъ не менѣе, не взирая на унижительную роль, какую играли въ сознаніи общества писатель и поэзія, литература такъ разрослась количественно и качественно, столько восприняла въ себя различнаго рода идей и настроеній, частью проникшихъ съ Запада, частью развившихся на русской почвѣ, что ложный классицизмъ во второй половинѣ вѣка далеко не охватывалъ собою всѣхъ ея явленій, хотя и оставался наиболѣе виднымъ, бросающимся въ глаза теченіемъ.

Такимъ образомъ, усвоивъ отъ западныхъ сосѣдей опредѣленныя литературныя теоріи, не имѣвшія ничего общаго съ естественнымъ ходомъ развитія Россіи, наша литература XVIII-го вѣка, опираясь на эти теоріи, выработала опредѣленный языкъ и слогъ, прониклась тѣми идеями, которыми жили передовые люди эпохи, отчасти подъ вліяніемъ ихъ, отчасти совѣмъ самостоятельно получила народно-національную окраску и значительно развила исконную черту свою—стремленіе къ общественному учительству. Въмѣстѣ съ тѣмъ она постепенно освобождалась отъ иноземнаго вліянія, сближаясь съ современной русской жизнью. Всѣ эти черты не достигли однако полной силы въ XVIII-мъ столѣтіи, и на долю первыхъ дѣсятилѣтій XIX-го вѣка выпала задача завершить процессъ развитія, столь интенсивно проявившійся въ предшествовавшемъ столѣтіи.

Вѣрные этой исторической задачѣ писатели начала прошлаго вѣка энергично продолжаютъ дѣло, завѣщанное имъ ихъ предшественниками. Чтобы достигнуть полнаго сближенія съ жизнью, стать органическимъ проявленіемъ ея, литература и въ частности поэзія, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, должна была, прежде всего, развить свое самосознаніе, опредѣлить цѣли и значеніе своего существованія. Эту задачу берутъ на себя два замѣчательныхъ дѣятеля литературы начала XIX-го столѣтія—Карамзинъ и Жуковскій, изъ которыхъ первый приобрѣлъ извѣстность на литературномъ поприщѣ еще въ концѣ предыдущаго вѣка. Ихъ точка зрѣнія на поэзію ничего общаго не имѣетъ съ тѣми взглядами, какіе существовали на этотъ счетъ среди представителей литературы XVIII-го вѣка. Въ 1792 году Карамзинъ помѣстилъ въ своемъ „Московскомъ Журналѣ“ стихотвореніе: „Поэзія“, гдѣ въ такихъ словахъ опредѣляетъ великое значеніе поэтического творчества: „во всѣхъ, во всѣхъ странахъ поэзія святая наставницей людей, ихъ счастіемъ была; вездѣ она сердца любовью согрѣвала“. Въ статьѣ: „Что нужно авто-

ру“, написанной въ слѣдующемъ году, необходимымъ свойствомъ писателя онъ считаетъ способность возвыситься душою до страсти къ добру, „питать въ себѣ святое, никакими сферами не ограниченное желаніе всеобщаго блага“. Такимъ образомъ, на ряду съ признаніемъ за поэзіей высокаго нравственнаго и эстетическаго значенія, Карамзинъ въ то-же время совершенно послѣдовательно предъявляетъ серьезныя требованія къ личности поэта. Эти взгляды Карамзина, явившіяся у него результатомъ изученія англійскихъ и нѣмецкихъ поэтовъ, совпадаютъ въ своей сущности съ тѣми мнѣніями, которыя высказывались на этотъ счетъ послѣдующими нашими писателями до Л. Н. Толстого включительно. Жуковский, выступившій вслѣдъ за Карамзинымъ на литературное поприще, подобно ему, ставитъ высоко значеніе поэзіи, которая, по его опредѣленію, „есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли..., небесной религіи сестра земная; свѣтлый маякъ, самимъ Создателемъ зажженный, чтобъ мы во тѣмъ житейскихъ бурь не сбились съ пути“.

Съ именами Карамзина и Жуковскаго связано появленіе двухъ новыхъ направленій въ нашей литературѣ, навѣянныхъ Западомъ,—сантиментализма и романтизма. Хотя оба они были чуждыми русской жизни, однако, въ общемъ, все-же благоприятно повліяли на общій ходъ литературнаго развитія. Сантиментализмъ, при всѣхъ его уродливыхъ крайностяхъ, сближалъ литературу съ жизнью изображеніемъ обыденной, будничной дѣйствительности, стремленіемъ воздѣйствовать на чувство читателя оказывалъ нѣкоторое гуманизирующее вліяніе на общественную среду, а связанная съ нимъ реформа книжнаго языка освободила нашу литературу отъ тѣхъ неестественныхъ правилъ трехъ штилей, которые были навязаны ей Ломоносовымъ.

Что касается до романтизма, то историческая роль его гораздо значительнѣе. Онъ впервые открылъ русскому читателю міръ благородной мечты, впервые у насъ заговорилъ объ идеалахъ и пробуждалъ въ чуткихъ душахъ возвышенные порывы и стремленія. Подъ вліяніемъ этого течения прежнія безсознательныя симпатіи къ національному элементу въ поэзіи получили болѣе опредѣленную форму. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ взялъ на себя, въ лицѣ Жуковскаго, чисто учительную роль—ознакомить читающее общество въ прекрасныхъ переводахъ съ лучшими поэтическими созданіями всего міра. Одновременно съ этимъ шла выработка языка и стиля, въ особенности стихотворнаго, и усвоеніе новыхъ, еще незнакомыхъ поэтическихъ формъ, т. е. довершалось дѣло, начатое въ предыдущемъ столѣтіи.

Между тѣмъ, у тѣхъ писателей, которые въ большей или меньшей степени были чужды вліянію господствовавшихъ иноземныхъ теченій, какъ Крыловъ и Грибоевъ, замѣчается большой шагъ впередъ во всѣхъ отношеніяхъ. Въ ихъ дѣятельности литературное творчество занимаетъ подобающее ему высокое мѣсто и въ художественномъ, и въ общественномъ смыслѣ. Крыловъ возводитъ до степени совершенства русскую басню, въ которой не знаешь, чему больше удивляться: художественной красотѣ и правдѣ языка и образовъ, мастерски переданному національному элементу или огромному значенію ихъ въ общественномъ отношеніи не только для современниковъ баснописца, но и для далекаго потомства. Грибоевъ своей безсмертной комедіей, блестяще отразившей современную автору борьбу не вполне оформившагося стремленія къ новымъ, свѣтлымъ идеаламъ жизни съ застарѣлымъ обскурантизмомъ и мыслелобазнью, далъ образцовое съ точки зрѣнія художественно-реальнаго направленія произведеніе, заслуживающее занять мѣсто въ ряду

мировых созданий искусства. Вліяніе Мольера, сказавшееся отчасти на комедіи Грибоѣдова, такъ незначительно и, главное, въ такой мѣрѣ претворено творческимъ гениемъ автора, что не можетъ служить препятствіемъ признавать „Горе отъ ума“ въ значительной мѣрѣ самобытнымъ произведеніемъ.

Таковы въ краткомъ, сжатомъ очеркѣ важнѣйшія литературныя явленія первыхъ десятилѣтій девятнадцатаго вѣка. Въ нихъ видно дальнѣйшее развитіе многихъ здоровыхъ свойствъ нашей литературы, служащихъ залогомъ преуспѣянія и роста ея въ тѣсномъ единеніи съ жизнью, для которой она издавна служила путеводной звѣздой. Но въ тоже время замѣчается, хотя въ меньшей степени, чѣмъ прежде, давнишняя отрицательная особенность ея—зависимость отъ болѣе сильныхъ въ культурномъ отношеніи сосѣдей, такъ сказать, духовное рабство. Правда, еще въ XVIII-мъ столѣтіи, вскорѣ послѣ того, какъ наша молодая свѣтская литература попала подъ иго ложнаго классицизма, отдѣльные писатели, какъ Сумароковъ, Державинъ и другіе, пытались освободиться отъ иноземнаго ярма, но эти попытки были незначительны и едва пробивали ничтожную брешь въ толстой стѣнѣ чуждаго вліянія. По мѣрѣ роста и развитія литературы брешь эта, однако, становилась больше, и нѣкоторымъ писателямъ, какъ, напримѣръ, Крылову и Грибоѣдову, удалось выйти на вольный воздухъ и проявить самобытное творчество, но это освобожденіе отдѣльныхъ поэтовъ отъ иностраннаго вліянія далеко не было всеобщимъ освобожденіемъ. Въ то время, когда появились первые басни Крылова, а Грибоѣдовъ работалъ надъ своей комедіей въ русской литературѣ господствовало цѣлыхъ три иноземныхъ направленія, ничего общаго не имѣвшихъ съ русской жизнью, являвшихся чѣмъ-то наноснымъ, чуждымъ ей. Это были отживавшій, но все-же имѣвшій не мало сторонниковъ ложный классицизмъ, сентиментализмъ и отголоски романтизма, только что занесенные къ намъ съ Запада Жуковскимъ. Вся эта смѣсь разнородныхъ направленій, постоянные споры между сторонниками ихъ вселяли путаницу въ умы молодыхъ писателей и мѣшали правильному ходу развитія ихъ талантовъ. Конецъ этому ненормальному явленію положилъ Пушкинъ, освободившій нашу литературу отъ тяготѣвшихъ надъ нею иноземныхъ вліяній и направившій ее по пути національнаго реально-художественнаго творчества.

Значеніе Пушкина въ исторіи нашего литературнаго роста настолько огромно, что будетъ вполне справедливымъ всю русскую поэзію дѣлить на два періода: подражательный—до Пушкина и самобытный—начиная съ него. Первый охватываетъ собою длинный промежутокъ времени—восемь вѣковъ и является какъ-бы подготовительной ступенію къ тому направленію русской литературы, какое воцарилось въ ней со времени Пушкина; второй продолжается и теперь и, хотя имѣетъ въ своей исторіи менѣе одного столѣтія, однако насчитываетъ цѣлый рядъ выдающихся писателей, инымъ изъ которыхъ суждено было сыграть немаловажную роль въ развитіи западно-европейской мысли и художественнаго творчества. Стоя на рубежѣ этихъ двухъ столь рѣзко отличающихся другъ отъ друга періодовъ, Пушкинъ первой половиной своей дѣятельности примыкаетъ къ старому литературному вѣку, переживая нѣкоторыя теченія прошедшаго: начиная-же съ половины двадцатыхъ годовъ онъ кладетъ прочное основаніе дальнѣйшему ходу нашей поэтической мысли, „Пушкинъ,—говоритъ новѣйшій историкъ русской литературы академикъ А. Н.

Пыпинъ,—завершалъ старый періодъ и сдавалъ его въ архивъ, но былъ связанъ съ нимъ на первыхъ шагахъ своего личнаго воспитанія, и когда вступилъ самъ и вводилъ литературу на путь, повидимому, совершенно новый, залогъ его успѣха заключался въ томъ, что онъ гениально извлекъ изъ этого прошедшаго всю здоровую и цѣнную сущность его стремленій,—чѣмъ и устранилъ его исторически,—и повелъ дѣло дальше, поставивъ сознательно новыя задачи“.

На первомъ періодѣ творчества Пушкина, считая его до 1824 года, когда опальный поэтъ поселился въ Михайловскомъ, въ значительной мѣрѣ лежитъ отпечатокъ тѣхъ поэтическихъ школъ, которыя въ то время держали въ опекѣ русскую литературу, а также отдѣльных писателей какъ отечественныхъ, такъ и иностранныхъ. Молодой поэтъ пробуетъ разные аккорды музы своего вѣка, но не останавливается долго ни на одномъ изъ нихъ. Исслѣдователи дѣятельности Пушкина въ этотъ періодъ указываютъ цѣлый рядъ источниковъ его вдохновенія какъ въ русской, такъ въ западно-европейской, главнымъ образомъ, французской литературѣ. Отъ легкомысленно-жизнерадостныхъ стихотвореній съ отгѣнкомъ эротизма во вкусѣ Парни онъ переходитъ къ мишурному блеску ложноклассической музы въ духѣ хвалебныхъ одъ еще непотерявшаго тогда своего обаянія „пѣвца Екатерины“ и тутъ-же одновременно вдохновляется мечтательной поэзіей Жуковского; во время четырехлѣтняго пребыванія на югѣ Россіи, онъ испытываетъ довольно сильное вліяніе творчества „властиеля думъ“ лучшихъ людей того времени—англійскаго поэта Байрона, и т. п.

Но съ первыхъ-же шаговъ его на литературномъ поприщѣ сквозь пестрый нарядъ чужихъ идей, формъ и настроеній довольно явственно начинается проглядывать свое самобытное начало, которое, какъ сказочный богатырь, растетъ не по днямъ, а по часамъ, мощно отгѣсная на второй планъ, а потомъ и совсѣмъ подавляя все чужое, неоригинальное. Такія произведенія, какъ написанныя во время пребыванія въ лицей „Городокъ“ и „Сонъ“, свидѣтельствуютъ о проявленіи этой самобытности еще въ очень раннемъ періодѣ его творчества несмотря на то, что весь складъ его жизни и развитіе долженъ былъ очень сильно препятствовать этому. Совершенно оригинальное, добродушно-насмѣшливое трактованіе въ „Русланѣ и Людмилѣ“ романтическихъ мотивовъ указываетъ на самостоятельное отношеніе къ тому литературному теченію, представителемъ котораго былъ одинъ изъ наиболее уважаемыхъ и любимыхъ Пушкинымъ поэтовъ его времени. Развѣнчаніе устами стараго пытана героя въ байроническомъ духѣ Алеко служить показателемъ, насколько сумѣлъ Пушкинъ отнестись, въ концѣ концовъ, критически-объективно даже къ тому писателю, мощнымъ гениемъ котораго, онъ, по его собственному, хотя нѣсколько гиперболическому выраженію, былъ одно время заполоненъ. Всякіе счеты съ вліяніемъ Байрона въ его поэзіи были закончены совершенно по приѣздѣ въ Михайловское, о чемъ свидѣтельствуютъ его замѣтки, гдѣ творецъ „Чайльдъ-Гарольда“ названъ поэтомъ безнадѣжнаго эгоизма. Тамъ же въ типѣ уединенія, подлѣ сѣнью михайловскихъ роць, какъ бы для того, чтобы окончательно раздѣлаться съ прежними кумирами, идетъ переоцѣнка литературнаго наслѣдія XVIII-го вѣка, главнымъ образомъ, въ лицѣ представителей псевдо-классической музы. Дополненная нѣсколько лѣтъ спустя эта спокойная, но безпощадная критика старыхъ поэтическихъ законодателей показываетъ, какъ великъ былъ въ Пушкинѣ здравый литера-

турный вкус, руководивший самобытной творческой силой. „Въ Ломоносовѣ,—пишетъ онъ,—нѣтъ ни чувства, ни воображенія. Оды его... утомительны и надуты. Его вліяніе на словесность было вредное и до сихъ поръ въ ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращеніе отъ простоты и точности, отсутствіе всякой народности и оригинальности—вотъ слѣды, оставленные Ломоносовымъ“. О Сумароковѣ онъ говоритъ какъ о „несчастнѣйшемъ изъ подражателей“. Изъ Державина, который, по его мнѣнію, „не зналъ ни русской грамоты, ни русскаго языка“, „должно сохранить... оды восемь да нѣсколько отрывковъ, а остальное сжечь“. Вообще, его тонкое художественное чутье оскорбляется, главнымъ образомъ, отсутствіемъ мѣры въ подраженіи. Его, на примѣръ, неприятно поражаетъ у Батюшкова, который, кстати сказать, тоже оказалъ свое вліяніе на лицейскія стихотворенія, „слишкомъ явное смѣшеніе древнихъ обычаевъ мифологіи съ обычаями жителя подмосковной деревни“. Такъ, постепенно сдавая въ архивъ то, что отжило свой вѣкъ, Пушкинъ выработывалъ свой путь реально-художественнаго творчества, развивая тѣ здоровыя зерна нашей литературы, которыя были сознательно посѣяны его предшественниками или же органически, несмотря ни на какія препятствія, возникали на ея нивѣ, заросшей разнаго рода сорными травами.

Посмотримъ, въ какомъ видѣ передалъ Пушкинъ потомству, пропустивъ черезъ горнило своей творческой мысли, тѣ лучшіе завѣты, которые онъ воспринималъ отъ предшествовавшихъ литературныхъ поколѣній.

Выше было указано, какъ на одну изъ особенностей допушкинскаго періода русской литературы, на стремленіе ея къ реализму, отъ времени до времени проглядывавшее въ дѣятельности отдѣльныхъ писателей. Инымъ изъ нихъ реально-художественное воспроизведеніе жизни удавалось въ большей степени, другимъ въ меньшей, но никто не обладалъ въ такой мѣрѣ творческимъ гениемъ, чтобы быть въ состояніи примѣнить этотъ пріемъ ко всѣмъ способамъ поэтическаго изображенія дѣйствительности. Пушкинъ первый далъ высокаго совершенства образцы во всѣхъ трехъ видахъ поэзіи. Его лирика, чуждая всякой искусственности, поражающая удивительной простотой формы и правдивостью чувства, передаетъ самые разнообразныя отбѣнки различныхъ настроеній человѣческаго сердца. Подъ его перомъ художественное выраженіе міра чувствъ достигло такой высоты, что его лирическія произведенія до сихъ поръ служатъ лучшимъ образцомъ для тѣхъ поэтовъ, творчество которыхъ находитъ себѣ пищу въ этой области. Что касается до эпическаго воспроизведенія жизни, то своимъ „Евгеніемъ Онѣгинымъ“ Пушкинъ положилъ начало реальному русскому роману, а „Повѣсти Бѣлкина“ и „Капитанская дочка“ послужили образцами такой-же повѣсти изъ современной и прошлой русской жизни. Отъ его „Бориса Годунова“ идетъ наша истинно-художественная трагедія. Таковы важнѣйшія созданія Пушкина, послужившія фундаментомъ реализма русской поэзіи. На ряду съ ними въ области эпоса и драмы имъ написано еще не мало разнаго рода художественныхъ произведеній реального направленія, которыя вмѣстѣ съ указанными выше заложили прочное основаніе новому періоду нашей литературы.

Въ области выработки литературнаго самосознанія, опредѣленія назначенія и цѣли поэтическаго творчества Пушкинъ также внесъ свою большую лепту въ нашу словесность. Въ зависимости отъ историческаго хода развитія взглядовъ на поэта и

поэзію его мысль въ этой области работаетъ въ двухъ направленіяхъ: съ одной стороны, онъ стремится возвысить личность поэта, отстоять независимость его творчества отъ суетныхъ побужденій будничной жизни, а съ другой—опредѣлить отношенія поэзіи къ текущей дѣйствительности. Большинство изслѣдователей, рассматривая вопросъ о взглядахъ Пушкина на поэта и его творчество, обыкновенно обращаетъ вниманіе только на первую часть его и вслѣдствіе этого впадаетъ въ большое заблужденіе, относя Пушкина къ представителямъ такъ называемаго чистаго искусства. Въ этомъ случаѣ обыкновенно ссылаются на такія стихотворенія, какъ „Чернь“, „Поэту“, въ которыхъ видятъ выраженіе поэтического profession de foi Пушкина, его взгляда на отношеніе поэта и его творчества къ жизни. Основываясь на нихъ, они, въ зависимости отъ своихъ личныхъ убѣжденій, то превозносятъ его, какъ поэта искусства для искусства, то строятъ цѣлую систему обвиненій, говоря, будто онъ отрѣшалъ себя отъ общества, уединялся въ своемъ поэтическомъ призваніи отъ нуждъ и стремленій современной жизни. Біографическія изслѣдованія въ достаточной степени выяснили, насколько выраженныя въ этихъ стихотвореніяхъ идеи являются результатомъ гнѣвнаго протеста Пушкина противъ того посягательства на внутреннюю свободу художественнаго творчества, которое было прямымъ слѣдствіемъ зависимаго положенія поэта въ русской жизни XVIII-го и начала XIX-го столѣтія. Въ порывѣ негодованія и раздраженія противъ черни въ умственномъ смыслѣ слова, которыя сквозятъ въ каждой строкѣ этихъ стихотвореній, особенно перваго, а не въ спокойномъ, созерцательномъ состояніи духа, онъ договаривается до извѣстныхъ стиховъ: „не для житейскаго волненія“ и т. д. Нужно было именно такое рѣзкое, нѣсколько гиперболическое выраженіе мысли о высокомъ, царственномъ значеніи свободы поэтического творчества, чтобы оградить его отъ посягательствъ всякаго рода „черни“, прикрывавшейся внѣшнимъ лоскомъ цивилизаціи. Параллельно съ этимъ въ цѣломъ рядѣ стихотвореній, написанныхъ въ различные періоды жизни, въ большинствѣ случаевъ, въ спокойномъ уединеніи, настойчиво развивается мысль о тѣсномъ, органическомъ единеніи искусства и жизни, о назначеніи поэзіи „тревожить сердца“, „жечь“ ихъ „божественнымъ глаголомъ“. Поэтъ, по его представленію, есть эхо, откликающееся на всѣ звуки въ природѣ и жизни, всему посылающее свой привѣтъ; его назначеніе въ томъ, чтобы „возславлять свободу“, „призывать милость къ падшимъ“ и, вообще, будить въ человѣческой душѣ добрыя чувства.

Эта мысль объ учительной роли искусства, явившаяся результатомъ отвлеченныхъ размышленій, нашла себѣ яркое выраженіе во всей поэтической дѣятельности Пушкина, начиная съ лицейскихъ стихотвореній, вплоть до произведеній послѣдняго года его жизни. Еще въ лицейской молодой шестнадцатилѣтній поэтъ пишетъ сатиру въ ювеналовомъ духѣ: „Лицинію“, которую современники не задумываясь приурочили къ Арапчеву. Нѣсколько позднѣе, въ 1819-мъ году, когда онъ въ большинствѣ своихъ произведеній былъ беззаботнымъ пѣвцомъ „Киприды, Вакха и Эроты“, у него въ минуту душевнаго просвѣтленія создается замѣчательнѣйшая элегія: „Уединеніе“ (Деревня), доказывающая, какъ сильно было уже тогда развито у него пониманіе окружающей жизни и негодованіе на темныя стороны ея. Во второй части этого стихотворенія съ поразительной силой въ немногихъ желѣзныхъ стихахъ рисуетъ Пушкинъ ужасное положеніе своей родины, „гдѣ барство дикое безъ чувства,

безъ закона присвоило себѣ насильственной дозой и трудъ, и собственность, и время земледѣльца“. Оканчивается оно извѣстными бессмертными стихами, впервые съ такой силой выразившими голосъ пробудившейся совѣсти русскаго помѣщика—рабовладѣльца:

Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ-ли, наконецъ, прекрасная заря!

Чтобы оцѣнить все значеніе этого стихотворенія, необходимо вспомнить, что мысль объ уничтоженіи крѣпостного права едва-едва тогда нарождалась въ русскомъ обществѣ, и огромное большинство даже лучшихъ людей того времени не видѣло всего страшнаго зла и позора, создаваемыхъ рабовладѣльчествомъ. И впоследствии, въ произведеніяхъ зрѣлаго періода, Пушкинъ неоднократно касался вопроса о положеніи народа подъ властью помѣщиковъ. Цѣлый рядъ отдѣльныхъ мелкихъ штриховъ въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ и другихъ большихъ и малыхъ сочиненіяхъ даютъ, въ общемъ, довольно живую и яркую картину народной жизни въ первыя десятилѣтія XIX-го вѣка. Но особенно полно изображена, можно сказать, цѣлая эпоха крѣпостничества въ „Лѣтописи села Горохина“. Такъ отразилъ Пушкинъ въ своемъ творчествѣ выникшій въ XVIII-мъ вѣкѣ въ нашей литературѣ интересъ къ изображенію народной жизни. Въ своей „железной вѣкѣ“ онъ не побоялся указать русскому обществу въ цѣломъ рядѣ произведеній на „тягостный яремъ“ народа.

Но не только крѣпостное право останавливало на себѣ вниманіе Пушкина и вызывало отклики его поэзіи. Множество темныхъ сторонъ тогдашней русской дѣйствительности отъ мистическаго настроенія князя А. Н. Голицына до скалозубовскихъ идеаловъ Аракчеева заклеяно ядовитымъ стихомъ его эпитаграммы, изображающимъ въ авторѣ глубокую степень возмущеннаго чувства.

Что, какъ не такой-же откликъ на современную русскую жизнь, представляетъ собою „Кавказскій плѣнникъ“, первое произведеніе, въ которомъ Пушкинъ попытался изобразить коренной типъ русскаго общества? Какъ русская жизнь въ теченіи долгаго времени не могла отдѣлаться отъ впервые намѣченнаго въ этой поэмѣ типа „скитальца по русской землѣ“, какъ его опредѣлили Достоевскій, такъ и Пушкинъ все болѣе и болѣе разрабатывалъ его въ „Цыганахъ“ и особенно въ „Евгеніи Онѣгинѣ“, гдѣ онъ предсталъ во весь ростъ и послужилъ родоначальникомъ цѣлаго ряда литературныхъ образовъ.

Да и весь этотъ романъ, со всей галлереей созданныхъ въ немъ типовъ, есть не что иное, какъ гениальный откликъ великаго русскаго поэта на родную современность. То-же самое нужно сказать и о написанныхъ прозой повѣстяхъ Пушкина, въ которыхъ затрагиваются различныя, часто темныя стороны того времени и затрагиваются такъ, что ясно чувствуешь, какъ относился къ нимъ поэтъ, ненавидѣвшій всякую неправду и униженіе личности. Насколько сильно чувствовалъ онъ недостатки домашняго и общественнаго строя русскаго общества въ то время, видно, между прочимъ, и изъ того, что сюжеты самыхъ замѣчательныхъ произведеній Гоголя: „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“ были получены имъ отъ Пушкина.

Такимъ образомъ, въ теченіе своей короткой литературной дѣятельности Пушкинъ всегда стоялъ на стражѣ общественныхъ интересовъ, которые глубоко захва-

тывали его и находили себѣ отраженіе въ его поэтическихъ созданіяхъ. Въ этомъ отношеніи его дѣятельность является дальнѣйшимъ развитіемъ отмѣченнаго выше общаго характера русской литературы, выразившагося въ томъ, что русскіе писатели, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, никогда не замыкались въ чисто художественную сферу, а своими произведеніями сознательно хотѣли вліять на совершавшуюся вокругъ нихъ жизнь и направлять ее къ лучшему. Пушкинъ, какъ родоначальникъ новѣйшей русской литературы, гдѣ эта черта проглядываетъ съ особенной силой, чрезвычайно ярко отразилъ ее, несмотря на въ высшей степени неблагоприятныя цензурныя и общественныя условія.

Давши въ своемъ творествѣ поразительную по широтѣ захвата картину современной и прошлой русской дѣйствительности, Пушкинъ въ то же время расширилъ содержаніе русской поэзіи и въ другомъ отношеніи, показавъ, что ей доступно реально-художественное воспроизведеніе иноземной жизни и такія стороны чело-вѣческаго духа, которыя были чужды до того времени русскому чело-вѣку. Эта „все-человѣчность“ Пушкина имѣла большое значеніе для роста нашей литературы, ибо теперь послѣдняя входила въ кругъ старѣйшихъ литературъ западно-европейскихъ не какъ раболѣпная ученица, а какъ равноправный членъ, вносящій свою долю въ сокровищницу мірового поэтическаго творчества.

Наконецъ, въ поэзіи Пушкина нашли себѣ яркое выраженіе еще двѣ характерныя черты русской поэзіи, проявившіяся впоследствии во всей силѣ въ творествѣ писателей XIX-го вѣка. Черты эти опредѣлены самимъ Пушкинымъ въ извѣстныхъ стихахъ „Памятника“, гдѣ поэтъ, между прочимъ, ставитъ себѣ въ заслугу, что онъ въ свой „жестокій вѣкъ“ возславилъ свободу и милость къ падшимъ призывалъ“. Протестъ противъ угнетенія личности, въ какой бы формѣ оно ни обнаруживалось, и самая широкая гуманность, сказывающаяся въ тепломъ, сердечномъ отношеніи къ „падшимъ“, порочнымъ людямъ, свѣтлой полосой проходятъ черезъ творчество Пушкина и находятъ себѣ широкій просторъ въ дѣятельности послѣдующихъ писателей.

Изъ немногихъ замѣчаній, сдѣланныхъ выше о значеніи творчества Пушкина, можно судить о той огромной роли, какую сыграла его дѣятельность въ историческомъ ходѣ развитія нашей литературы. Пушкина справедливо уподобляютъ Петру Великому и примѣняютъ къ нему слова, сказанныя Неплюевымъ о великомъ преобразователѣ: „на что въ Россіи ни взгляни, все его имѣетъ началомъ, и что-бы впредь ни дѣлалось, отъ сего источника черпать будутъ“. Дѣйствительно, въ дѣятельности этого колоссальнаго поэтическаго гениа коренятся зачатки цѣлаго ряда послѣдующихъ явленій русской литературы. Не говоря уже о томъ, что ему мы обязаны водвореніемъ въ нашей поэзіи художественнаго реализма, который до сихъ поръ полновластно царитъ въ ней, отъ него ведетъ начало поэтической разработки такихъ явленій, идей и настроеній русской жизни, которыя, по справедливости, могутъ считаться основными въ развитіи нашего общества въ XIX-мъ столѣтіи. Пушкинъ первый изъ русскихъ поэтовъ подвергъ анализу недовольство жизнью, грусть и тоску, которыя стали характерными чертами русскаго образованнаго чело-вѣка прошлаго столѣтія. Какъ-бы предчувствуя, какую большую роль суждено играть этимъ настроеніямъ въ нашей общественной жизни, онъ разрабатывалъ ихъ въ нѣ-

скольких поэтических образах и в лирических стихотворениях. Тип идеальной русской женщины также впервые нашел себе воплощение в его творчестве в образе Татьяны Лариной, прототипа многих аналогичных образов у последующих писателей. Лермонтовский скептицизм, внимание к западному славянскому миру, художественный интерес к родной старине, симпатия к народной жизни и поэзии—все это коренится во многообъемлющем творчестве Пушкина. В этом случае особенно ценными являются признания последующих коренеев русской литературы, ставящих свою деятельность в непосредственную связь с его поэзией. Так, по словам Гоголя, сюжеты двух главнейших его произведений: „Ревизора“ и „Мертвых душ“ были внушены ему Пушкиным; творя что-либо, он всегда мысленно считался с тем, как посмотрелъ-бы на это его великий учитель. Тургенев называл себя учеником Пушкина и признавал, что русским писателям остается только идти по пути, проложенному его гением. По мнению Гончарова, „Пушкин—отец, родоначальник русского искусства, как Ломоносов—отец науки в России. В Пушкине кроются все семена и зачатки, из которых развились потом все роды и виды искусства во всех наших художниках“.

Так Пушкин, впитав в себя все плодотворные элементы предшествовавшего литературного развития, гениально намечил новый путь творчества для последующих художников слова.

То, что было создано или намечено им, но не успело еще проникнуть в общее литературное сознание, нашло себе дальнейшее развитие и выражение в творчестве Гоголя, завершившего своей деятельностью круг тех идей, которые легли в основу новейшей русской литературы.

Вместе с Пушкиным Гоголь делит славу водворения в русской литературе художественно-реального направления. Благодаря особенностям своего таланта, он, как и Пушкин, вполне самостоятельно, ни у кого не учась, выступил на путь художественного реализма. Уже в первых его произведениях, несмотря на присутствие в них в значительной степени фантастического элемента, чувствуется мощный размах реального творчества. Позднее с особенной силой выступила эта черта в „Миргородѣ“, петербургских повестях и особенно в „Ревизорѣ“ и „Мертвых душах“. С появлением этих произведений, когда их значение было блестяще истолковано Белинским, невозможно было русской литературе не следовать по пути, проложенному Пушкиным и Гоголем. Нападки отсталых критиков, в роду Булгарина, Сенковского и Полевого, не могли поколебать очевидного успеха нового направления, которое с сороковых годов прошлого века воцаряется в нашей литературе и дает таких титанов художественного творчества, как Гончаров, Тургенев, Достоевский, Лев Толстой, Островский. Связь творчества писателей сороковых годов с деятельностью Пушкина и Гоголя нашла себе формулировку в известном изречении Достоевского: „все мы вышли из под гоголевской пинели“, сказанном им о своих литературных сверстниках, а также в заявлении Гончарова о том, что школа пушкинско-гоголевская продолжается и в его время, и все беллетристы разрабатывают завещанный ими материал. Действительно, наша повесть и роман после Пушкина и Гоголя являются дальнейшим развитием основных приемов и точек зрения, установленных ими и примененных к более широкому кругу явлений.

Но если честь водворенія въ нашей литературѣ художественнаго реализма принадлежитъ Пушкину и Гоголю, а также ихъ блестящему истолкователю Бѣлинскому, то въ значительной мѣрѣ за однимъ Гоголемъ остается несомнѣнная заслуга въ томъ отношеніи, что онъ, идя по пути, намѣченному Пушкинымъ, далъ широкую картину, художественно изображающую отрицательныя стороны современной ему дѣйствительности, „всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога“. Здѣсь онъ пошелъ уже гораздо дальше Пушкина, который открыто признавалъ его преимущество въ этомъ отношеніи, когда заявилъ о Гоголѣ, что еще ни у одного писателя не было способности такъ ярко выставлять пошлость жизни, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ взора наблюдателя, бросилась крупно въ глаза всѣмъ.

Изображая „выпукло и ярко“, въ скорбномъ освѣщеніи юмористическаго отношенія къ жизни, „пошлость пошлаго человѣка“, Гоголь тѣмъ самымъ могущественнымъ образомъ заставилъ русское общество оглянуться на себя, задуматься надъ тѣмъ строемъ жизни, который въ такомъ ужасномъ видѣ предсталъ передъ глазами, благодаря могучему таланту поэта пошлости. Самъ Гоголь, вслѣдствіе вліянія окружавшихъ его лицъ, особенно кружка жуковскаго и московскихъ славянофиловъ, при всей своей рѣдкой способности къ анализу отрицательныхъ сторонъ жизни, останавливался на полдорогѣ въ объясненіи причинъ той печальной картины родного болота, какую создало его вѣрное дѣйствительности творческое воображеніе. Онъ видѣлъ ихъ исключительно въ низкомъ нравственномъ уровнѣ отдѣльныхъ личностей, что же касается до общественнаго строя, то онъ признавалъ его вполне хорошимъ. Но читатели Гоголя шли дальше его самого и справедливо видѣли корень зла не только въ несовершенствѣ отдѣльныхъ личностей, которыя въ большей или меньшей степени являются продуктомъ высшихъ жизненныхъ условий, но и въ самихъ этихъ условияхъ. Этимъ Гоголь болѣе, чѣмъ какой-либо другой изъ русскихъ писателей, способствовалъ признанію несостоятельности дореформенной жизни, пробуждалъ жажду новыхъ, болѣе разумныхъ и гуманныхъ порядковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, заставляя читателя задуматься надъ его личными недостатками, побуждалъ его приняться за трудную работу, безъ которой однако немислимъ истинный прогрессъ,—за дѣло личнаго усовершенствованія. Страстный, захватывающій, чарующій лиризмъ, который въ неисчерпаемомъ количествѣ таился въ творческой душѣ Гоголя, овладѣвалъ читателемъ и заставлялъ его стремиться къ лучшей, болѣе разумной, возвышенной и свободной жизни. Такимъ образомъ, внушая своими твореніями критическое отношеніе къ господствовавшимъ устоямъ личной и общественной жизни, Гоголь блестяще продолжилъ давнишнюю работу русскихъ писателей—„глаголомъ жечь сердца людей“, вліять своимъ творчествомъ на окружающую дѣйствительность.

Тѣсное единеніе жизни и поэзіи, когда послѣдняя является могучимъ вождемъ къ свѣтлому идеалу добра и правды, шло у Гоголя рука объ руку съ завершеніемъ другой исторической задачи, поставленной русской литературой и въ значительной степени выполненной Пушкинымъ. Это—установленіе взгляда на писателя и его назначеніе. По глубокому убѣжденію Гоголя, поэтъ несетъ великую от-

вѣтственность передь роднымъ народомъ за свой талантъ; онъ обязанъ всю свою жизнь, всѣ свои силы посвятить такому художественному творчеству, которое возможно болѣе благотворно вліяетъ на общество. Много разъ въ теченіе своей литературной дѣятельности Гоголь съ полной ясностью высказывалъ свой взглядъ на великую роль, какую беретъ на себя предъ обществомъ писатель, и на страшную моральную отвѣтственность, съ которой связана дѣятельность поэта—воспитателя читающей публики. Эти взгляды Гоголя, несомнѣнно, оказали не малое вліяніе на послѣдующихъ писателей сороковыхъ годовъ. Всѣ они, проникшись уваженіемъ къ Гоголю, какъ поэту, вмѣстѣ съ тѣмъ усвоили и его точку зрѣнія на писателя, какъ въ высшей степени важнаго общественнаго дѣятеля, который обязанъ весь отдаться на служеніе идеаламъ добра и правды. И если мы съ гордостью можемъ сказать, что наши лучшіе писатели—реалисты всегда высоко держали знамя литератора, какъ вождя общества, зачастую жертвуя за исповѣдуемые убѣжденія своими личными интересами, то мы не должны забывать, что въ этомъ случаѣ они являются прямыми продолжателями Пушкина и Гоголя, поставившихъ на эту высоту званіе поэта.

Такъ дѣятельностью этихъ двухъ писателей было достигнуто дальнѣйшее развитіе здоровыхъ ростковъ нашей литературы, сохранившихъ свою жизнность вопреки многимъ неблагоприятнымъ обстоятельствамъ предшествовавшихъ періодовъ. Благодаря имъ, прочно водворилось у насъ реально-художественное направленіе, создана самобытность нашей поэзіи и установлена для нея опредѣленная нравственно-общественная задача. Послѣдующіе писатели послѣ-гоголевскаго періода нашей литературы, при всемъ разнообразіи своихъ дарованій и богатствъ содержанія ихъ творчества, въ своей дѣятельности идутъ по пути, указанному этими двумя великими дѣятелями русскаго художественнаго слова. Основной тонъ ихъ творчества, по справедливому замѣчанію А. Н. Пыпина, критическій; „мотивы—изображеніе житейской пошлости, подавляющей нравственную жизнь, защита людей и цѣлыхъ общественныхъ классовъ, угнетаемыхъ безсердечіемъ и самыми общественными формами, указаніе чловѣческаго достоинства или права чловѣческой личности въ самыхъ скромныхъ существованіяхъ, забытыхъ условіями жизни, наконецъ, изображеніе того внутренняго страданія, которое выпадаетъ на долю людей, сознающихъ жизненную неправду и пытающихся на непосильную борьбу“. Во главѣ этого новѣйшаго періода русской литературы, когда она въ короткое время заняла мѣсто въ ряду старѣйшихъ литературъ Запада и служитъ предметомъ удивленія всего образованнаго міра, долженъ быть поставленъ Виесаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій, которому и посвящается ниже первый очеркъ.

Въ чемъ заключаются особенности духовной организаціи писателя, избравшаго себѣ, какъ всѣ разсматриваемые ниже поэты, путь реально-художественнаго творчества, и какъ происходитъ самый процессъ такого творчества? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ послужитъ небольшой экскурсъ въ мало разработанную область психологіи поэтического творчества, являющійся здѣсь тѣмъ болѣе умѣтнымъ, что онъ прольетъ нѣкоторый свѣтъ на внутренній, скрытый отъ поверхностнаго читателя, но глубоко интересный духовный міръ писателей, творчество которыхъ сыграло огромную роль въ развитіи русскаго общественнаго самосознанія.

Первой характерной чертой, отличающей поэта от других смертных, является его необыкновенная впечатлительность, восприимчивость. Многя явления, мимо которых пройдет, не замѣчая ихъ, обыкновенный человекъ, оставляютъ болѣе или менѣе глубокий слѣдъ въ нѣжной душѣ поэта. Это своего рода эолова арфа всей природы, зеркало совершающейся вокругъ него жизни. Поэтъ, по выраженію одного изъ братьевъ Гонкуръ, какъ поливъ своими щупальцами, втягиваетъ въ себя разнообразныя явления жизни, иногда подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ заноситъ ихъ на бумагу, даже и не думая о той формѣ, какую онъ придастъ имъ въ своихъ произведеніяхъ. Всѣмъ, вѣроятно, памятно чудное уподобленіе души поэта эху, данное Пушкинымъ и сдѣлавшееся чуть не общимъ мѣстомъ, когда приходится говорить объ отзывчивости художниковъ слова. Менѣе извѣстно другое стихотвореніе русскаго поэта Баратынскаго, написанное на смерть Гете. Давая въ немъ восторженную характеристику умершаго „олимпійца“, Баратынскій въ красивыхъ, звучныхъ стихахъ указываетъ тѣмъ самымъ на отличительныя свойства всѣхъ мировыхъ поэтовъ.

Все духъ въ немъ питало: труды мудрецовъ,
Искусствъ вдохновенныхъ созданья,
Преданья, завѣты минувшихъ вѣковъ,
Цвѣтущихъ временъ упованья.
Мечтою по волѣ проникнуть онъ могъ
И въ нищую хату, и въ царскій чертогъ.
Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье;
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

На ту-же самую черту поэта—умѣть восчувствовать всѣ мельчайшіе оттѣнки и подробности совершающейся вокругъ жизни указываетъ и Гоголь въ началѣ VI главы первой части „Мертвыхъ душъ“. „Прежде, давно, въ лѣта моей юности, въ лѣта невозвратно мелькнувшаго моего дѣтства, мнѣ было весело подвѣзжать въ первый разъ къ незнакомому мѣсту... Всякое строеніе, все, что носило только на себѣ впечатлѣніе какой-нибудь замѣтной особенности,—все останавливало меня и поражало... ничто не ускользало отъ свѣжаго, тонкаго вниманія, и высунувши носъ изъ походной телѣги своей, я глядѣлъ и на невиданный дотолѣ крой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики съ гвоздями, съ сѣрой, желтѣвшей вдали, съ изюмомъ и мыломъ, мелькавшіе изъ дверей овощной лавки вмѣстѣ съ банками высохшихъ московскихъ конфетъ, глядѣлъ и на шедшаго въ сторонѣ пѣхотнаго офицера, и на купца, мелькнувшаго въ сибиркѣ на бѣговыхъ дрожжахъ, и уносился мысленно за ними въ бѣдную жизнь ихъ“.

Послѣднія слова Гоголя показываютъ, что необыкновенная восприимчивость соединяется у поэта съ живымъ воображеніемъ, которое неустанно работаетъ, получивъ толчекъ въ томъ или иномъ направленіи.

Но богатое воображеніе и сильная впечатлительность, способность быстро и живо воспринимать въ мелочахъ окружающую дѣйствительность и сохранять болѣе или менѣе долго эти впечатлѣнія еще не дѣлаютъ поэта. Есть не мало людей, осо-

Заметка

9!!!

17

891

А-46

бенно въ нашъ нервный вѣкъ, которые отличаются тоже чрезмѣрной впечатлительностью, но никто не станетъ причислять ихъ къ такъ называемымъ художественнымъ натурамъ. Это чисто патологическая воспримчивость, которую вѣдаютъ врачи по нервнымъ болѣзнямъ, и она имѣетъ такъ-же мало общаго съ воспримчивостью поэта, какъ лихорадочный румянецъ чахоточныхъ съ цвѣтущей свѣжестью здоровой юности. Сильная впечатлительность, воспримчивость и живое воображеніе, неустанно работающее въ томъ или иномъ направленіи, представляютъ только матеріаль, почву, на которой, при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ вырасти поэтическое созданіе, но ихъ однихъ далеко не достаточно для того, чтобы стать поэтомъ.

Необходимо, чтобы впечатлѣнія, часто разрозненные и отрывочныя, воспринятія при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ и обстановкѣ, могли комбинироваться въ воображеніи писателя, соединяться въ цѣлые образы и картины. Это можетъ быть только тогда, если воспримчивая въ высшей степени натура обладаетъ еще однимъ свойствомъ, рѣзко отличающимъ художника и поэта въ частности, какъ художника слова, отъ прочихъ смертныхъ; свойство это—творчество, понимаемое въ этомъ случаѣ, какъ умѣніе создавать въ душѣ новые образы и воплощать ихъ при помощи слова.

Истинное творчество состоитъ не только въ способности соединять въ цѣлыя законченные образы разнородныя впечатлѣнія, полученные отъ дѣйствительности, но и въ такъ называемомъ угадываніи по нѣсколькимъ чертамъ остальныхъ свойствъ того или другого типа. Въ этомъ случаѣ у поэтовъ дѣйствуетъ, такъ называемое, постройтельное воображеніе, способность представить въ умѣ съ необыкновенной ясностью, до мельчайшихъ подробностей ту или другую картину, хотя-бы и не наблюдаемую раньше въ дѣйствительности. Такъ, Флоберъ, кончая свой извѣстный романъ: „Г-жа Бовари“, когда писалъ сцену отравленія своей героини мышьякомъ, чувствовалъ самъ тошноту,—до такой степени ясно онъ представлялъ себѣ ея мучительное состояніе.

Есть у А. Толстого небольшое стихотвореніе, которое прямо указываетъ на работу въ душѣ поэта именно этого постройтельнаго воображенія. Вотъ это стихотвореніе:

Источникъ за вишневымъ садомъ,
Слѣды голыхъ дѣвическихъ ногъ;
И тутъ же оттиснулся рядомъ
Гвоздями подбитый сапогъ.

Все тихо на мѣстѣ ихъ встрѣчи...
Но чувствуетъ ревниво мой умъ
И шопотъ, и страстныя рѣчи,
И ведеръ расплесканныхъ шумъ.

Какой-нибудь едва замѣтный отпечатокъ ногъ на мокромъ прибрежномъ пескѣ выливаетъ въ душѣ поэта цѣлую картину свиданія влюбленныхъ, до такой степени яркую, что онъ чувствуетъ даже „ведеръ расплесканныхъ шумъ“. Другимъ примѣромъ такого творчества угадыванія можетъ служить извѣстный романъ Бичеръ-Стоу: „Хижина дяди Тома“. По словамъ біографа Бичеръ-Стоу, Анны Фильдсъ, авторъ „Хижины дяди Тома“ мало зналъ жизнь южныхъ рабовладѣльческихъ штатовъ, тѣмъ

БИБЛИОТЕКА

не менѣе, у него вышла удивительно яркая картина бѣдственнаго положенія негровъ, совершенно вѣрная дѣйствительность. Когда кто то спросилъ у Бисеръ-Стоу, какъ она могла, не будучи знакома съ жизнью юга, такъ вѣрно изобразить ее, она отвѣчала: „Я писала только то, что видѣла. Весь романъ представлялся мнѣ въ видѣнiяхъ, слѣдовавшихъ другъ за другомъ, и мнѣ оставалось только передать ихъ словами; я не измѣнила никакихъ подробностей“. Очевидно путемъ угадыванiя Бисеръ-Стоу создала по немногимъ чертамъ цѣлую широкую картину жизни, вполне вѣрную дѣйствительности.

Изъ сказаннаго видно, что реально-художественное творчество бываетъ двухъ родовъ: въ одномъ изъ нихъ преобладаетъ способность переработывать полученныя впечатлѣнiя въ цѣльные образы, въ другомъ господствуетъ угадыванiе по немногимъ даннымъ дѣйствительностью чертамъ остальныхъ свойствъ изображаемаго характера или явленiя. Само собою разумѣется, что каждый изъ этихъ родовъ творческой способности не встрѣчается въ чистомъ видѣ безъ примѣси другого, но обыкновенно въ дѣятельности писателя занимаетъ господствующее мѣсто тотъ или иной изъ нихъ. Примѣромъ творчества перваго рода могутъ служить Тургеневъ и Гончаровъ. Вся литературная дѣятельность Тургенева опиралась исключительно на впечатлѣнiя текущей жизни. Ему, какъ онъ говорилъ, нужно было сдѣлать въ теченiе года не менѣе пятидесяти знаомствъ для изученiя однородныхъ типовъ и новыхъ чертъ извѣстнаго характера. Гончаровъ тоже могъ удачно изображать только то, что близко видѣлъ и зналъ. Чуть только онъ прибѣгалъ къ сочиненiю, къ выдумкѣ, у него получались слабые и блѣдные образы, какъ, на примѣръ, Наташа и Софья Бѣловодова въ „Обрывѣ“. Наоборотъ, тѣ характеры, для созданiя которыхъ онъ имѣлъ богатые данныя въ дѣйствительной жизни, вышли у него вполне живыми, какъ Обломовъ, Захаръ, бабушка (въ „Обрывѣ“), Марѣинька, вся дворня и многiе другiе. Совсѣмъ иного рода было творчество, на примѣръ, Достоевскаго, который, главнымъ образомъ, путемъ построительнаго воображенiя, угадыванiя создалъ свои поражающiе психологической правдой образы ненормальныхъ людей. У наиболѣе могучихъ талантовъ оба рода творчества, каждый въ высшей мѣрѣ, соединяются вмѣстѣ, и тогда появляются такiе гиганты художественной мысли, какъ Левъ Толстой.

Таковы тѣ душевныя силы, которыми обуславливается созданiе поэтическихъ произведенiй, къ разсмотрѣнiю процесса котораго мы теперь и переходимъ.

Прежде чѣмъ поэтъ берется за перо, у него въ душѣ, въ воображенiи уже есть тотъ образъ, который онъ хочетъ рисовать словами. Этотъ духовный образъ, идеаль, онъ воплощаетъ въ чувственный. Слѣдовательно, порядокъ творчества таковъ: вначалѣ возникаетъ художественный идеаль, который затѣмъ воплощается въ чувственный образъ. Иногда идеаль, сложившiйся въ воображенiи, бываетъ чрезвычайно яркъ. Гончаровъ, на примѣръ, признается, что пока еще творческая работа происходила у него въ головѣ, „лица не даютъ покою, пристають, позируютъ въ сценахъ“, такъ что ему порой казалось, будто все это носится въ воздухѣ около него, и ему только нужно смотрѣть и вдумываться. Въ другихъ случаяхъ, какъ это бывало, на примѣръ, часто съ Гоголемъ, идеаль представляется въ видѣ блѣднаго контура, который проясняется во всѣхъ деталяхъ только послѣ долгой и напряженной работы.

Но самый идеаль, создаваемый въ воображеніи поэта, есть результатъ особаго рода дѣятельности ума, такъ называемаго художественнаго мышленія, сущность котораго состоитъ въ томъ, что отвлеченная мысль облекается въ конкретный образъ. Еще Вѣлинскій со своимъ глубокимъ критическимъ чутьемъ проникъ въ эту творческую тайну, сказавъ, что искусство есть непосредственное созерцаніе мысли, мышленіе въ образахъ, а каждое поэтическое произведеніе есть плодъ могучей мысли, овладѣвшей поэтомъ. Позднѣйшія изслѣдованія только подтвердили это мнѣніе великаго критика, научно обосновавъ его фактическими данными и поставивъ въ связь съ образованіемъ и развитіемъ языка. Теперь можно съ увѣренностью сказать, что „художественное мышленіе не есть какой-либо исключительный даръ, родъ монополіи художниковъ и поэтовъ, оно—одинъ изъ обычныхъ, свойственныхъ человѣческому уму путей мысли, опредѣляемый, какъ процессъ пониманія (апперцепированія) общихъ идей при помощи конкретнаго представленія (образа)“¹⁾,

Пояснимъ это частнымъ примѣромъ. Всемъ, вѣроятно, приходилось встрѣчать такихъ людей, которые, выражая свои отвлеченныя мысли, прибѣгаютъ къ образной рѣчи, употребляютъ иногда длинныя сравненія, аллегоріи и т. п. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ зачатками именно такъ называемаго художественнаго мышленія: сама по себѣ отвлеченная мысль облекается въ конкретную форму. То-же самое, только въ гораздо болѣе сильной степени, находимъ мы и въ созданіи поэтическаго идеала. Какая-нибудь чисто абстрактная идея невидимымъ и незамѣтнымъ для самого поэта образомъ дѣйствуетъ на его чувство, настроеніе, и подъ вліяніемъ этого настроенія въ его воображеніи слагаются опредѣленные образы, концепціи, такъ сказать, иллюстрирующіе эту идею, очень часто еще неясную самому поэту. Онъ ее, какъ говорится въ психологіи, апперцепируетъ, воспринимаетъ при помощи конкретныхъ образовъ, мыслить образами. Такъ, на примѣръ, у Л. Толстого, въ одной изъ его педагогическихъ статей, находится въ высшей степени любопытное въ этомъ отношеніи замѣчаніе о томъ, какъ онъ во время чтенія русскихъ пословицъ сейчасъ-же рисуетъ въ своемъ воображеніи различныя лица изъ народа и ихъ столкновенія въ смыслѣ пословицы; всякая мысль, такимъ образомъ, выраженная въ той или другой пословицѣ, немедленно облекается у него въ конкретныя образы.

Только эта замѣна одного способа мышленія другимъ происходитъ гдѣ-то „позади сознанія“, она незамѣтна для самого поэта. Но бываетъ и такъ, что отвлеченная мысль, прежде чѣмъ облечется въ конкретный образъ, ясно предстаетъ сознанію поэта. Тогда прибавляется лишнее звено въ порядкѣ творческаго процесса, который представляется въ такомъ видѣ: отвлеченная идея, художественный образъ, словесное воспроизведеніе его. Въ тѣ моменты, когда въ дѣятельности писателя преобладающимъ качествомъ является умъ, творческій процессъ идетъ вторымъ изъ указанныхъ путей; тогда, говоритъ Гончаровъ, умъ досказываетъ, чего не договариваетъ образъ, и мы имѣемъ дѣло съ такъ называемою тенденціозностью; такія созданія нерѣдко бываютъ „сухи, блѣдны, неполны; они говорятъ уму читателя, мало говоря воображенію и чувству“. Результатомъ такого творческаго процесса является

¹⁾ Овсяннико-Куликовскій. „Къ вопросу о приемахъ и задачахъ художественной критики“. Н. С. 97 г. 12.

образъ Соломина въ тургеневской „Нови“ или Марка Волохова и Тушина въ „Обрывѣ“ Гончарова. Наоборотъ, если въ періодъ творчества у художника преобладала дѣятельность фантазій, тогда „образъ поглощаетъ въ себѣ значеніе, идею; картина говоритъ за себя, и художникъ часто увидитъ смыслъ съ помощью тонкаго критическаго истолкователя, какимъ, на примѣръ, были Вѣлинскій и Добролюбовъ“ (Гончаровъ. „Лучше поздно, чѣмъ никогда“).

Когда идеаль въ томъ или другомъ видѣ сложился въ душѣ художника, онъ въ моментъ творческаго подъема силъ, называемаго вдохновеніемъ, облекаетъ духовный образъ въ словесную форму. Остановимся нѣсколько надъ самымъ ходомъ этой уже очевидной для всякаго работы поэта надъ его произведеніями.

Когда читаешь какого-либо крупнаго поэта, въ родѣ Тургенева, Гончарова, Л. Толстого и другихъ, кажется, будто ихъ произведенія созданы безъ всякаго труда, такъ все ясно, послѣдовательно на своемъ мѣстѣ. На этомъ впечатлѣніи основано довольно распространенное мнѣніе о томъ, будто бы поэтическое творчество не представляетъ собою почти никакого труда, что разъ poeta постигло вдохновеніе, у него сразу, безъ всякой подготовительной работы, безъ умственнаго усилія, текутъ изъ-подъ пера фразы, создаются образы, концепціи. Поэтическое творчество,—думаютъ нѣкоторые,—это своего рода забава, игра, чуждая какихъ-либо усилій и труда со стороны художника. Между тѣмъ, въ этомъ мнѣніи есть не мало недоразумѣній, основанныхъ на незнакомствѣ съ процессомъ поэтическаго творчества.

Основываясь на признаніяхъ поэтовъ, можно, кажется, сказать, что только лирика создается часто безъ особаго труда со стороны автора. Сравнительно легко дается также творчество нѣкоторымъ поэтамъ, облекающимъ свои произведенія въ стихотворную форму. Въ минуты вдохновенія творчество у нихъ прямо бьетъ ключемъ.

И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ,
И рифмы легкія навстрѣчу мнѣ бѣгутъ,
И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагѣ,
Минута—и стихи свободно потекутъ.

(Пушкинъ).

Но даже и эти какъ бы вылившіяся въ готовой формѣ изъ творческихъ тайниковъ души поэта произведенія сплошь и рядомъ подвергаются тщательной переработкѣ подъ контролемъ сознанія. Въ большинствѣ же случаевъ, какъ это видно изъ исторіи творчества русскихъ писателей, чисто мыслительная, логическая работа занимаетъ далеко не послѣднее мѣсто въ созданіи и обработкѣ поэтическихъ произведеній; на ряду съ воображеніемъ работаетъ и соображеніе поэта.

Въ этомъ отношеніи особенно цѣнны признанія, сдѣланные Гоголемъ и Тургеневымъ. Оба они въ совершенно ясныхъ выраженіяхъ говорятъ о той роли, какую играла въ ихъ творествѣ мыслительная дѣятельность.

„Я никогда не писалъ портрета въ смыслѣ простой копіи“, говоритъ Гоголь: „я создавалъ портретъ, но создавалъ его вслѣдствіе соображенія, а не воображенія. Чѣмъ болѣе вещей принималъ я въ соображеніе, тѣмъ у меня вѣрнѣе выходило созданіе... Полное воплощеніе въ плоть, полное округленіе характера совершалось у меня только тогда, когда я, держа въ головѣ всѣ крупныя черты характера, соберу въ то-же время вокругъ него все тряпье до малѣйшей булавки, которое кру-

жится ежедневно вокруг человека,—словомъ, когда соображу все отъ мала до велика, ничего не пропустивши. У меня въ этомъ отношеніи умъ тотъ самый, какой бываетъ у большей части русскихъ людей, т. е. способный больше выводить, чѣмъ выдумывать“. Изъ этихъ словъ Гоголя видно, что его творческая работа, исходя изъ впечатлѣній дѣйствительной жизни, въ значительной степени сопровождалась дѣятельностью ума, который у него игралъ чуть ли не первенствующую, регулирующую роль.

То-же самое мы замѣчаемъ и у Тургенева, творчество котораго также направлялось умомъ. По его словамъ, въ своемъ творествѣ онъ обыкновенно „имѣлъ исходною точкою... живое лицо, къ которому постепенно примѣшивались и прикладывались подходящіе элементы“. Это прикладываніе подходящихъ элементовъ могло совершаться, конечно, только при помощи логической работы ума, принимавшаго большое участіе въ созданіи чудныхъ произведеній Тургенева.

Гончаровъ, говоря о своемъ творествѣ, тоже упоминаетъ о невидимомъ, но громадномъ умственномъ трудѣ, который приходится затрачивать поэту при писаніи романа: нужно „соображать, обдумывать участіе лицъ въ главной задачѣ, отношеніе ихъ другъ къ другу, постановку и ходъ событій, съ неуспыннымъ контролемъ и критикою относительно вѣрности или невѣрности, недостатковъ, излишества и т. д.“. У нѣкоторыхъ эта работа продолжается чрезвычайно долго. Такъ, Левъ Толстой иногда по десяти разъ переписываетъ одну и ту-же главу, дѣлая все новыя и новыя поправки; такой-же передѣлкѣ подвергаются и первый и второй корректурные листы. Работая съ огромными умственными усиліями надъ своими произведеніями, Толстой любитъ повторять, что „золото добывается только усиленнымъ просѣиваніемъ и промываніемъ“, имѣя, вѣроятно, подъ этимъ въ виду фильтрованіе творческихъ домысловъ фантазій при помощи критической дѣятельности мысли.

Такимъ образомъ, лучшіе наши художники слова подвергали самому тщательному контролю разсудка свои творческіе замыслы; послѣдующая отдѣлка еще не вполне оформившагося поэтическаго образа происходила у нихъ при дѣятельномъ участіи мысли: вполне сознательно дорисовывали они однѣ черты, уничтожали другія, пользуясь для этого обширнымъ запасомъ впечатлѣній отъ дѣйствительной жизни, хранившихся то непосредственно въ ихъ воображеніи, то занесенныхъ въ разное время здѣсь или тамъ на бумагу. Не будь у поэтовъ въ запасѣ этихъ реальныхъ наблюденій, они никогда бы не смогли при самомъ сильномъ творческомъ талантѣ создать вполне реальный художественный образъ, такъ какъ имъ неоткуда было-бы почерпнуть краски для этого образа.

Однако-же какъ добываетъ себѣ поэтъ эти краски? Любопытно прослѣдить за тѣмъ, какъ собираютъ писатели запасъ наблюденій, безъ которыхъ немислимо созданіе реальныхъ произведеній искусства. Въ комедіи Чехова „Чайка“ есть одно мѣсто, которое нагляднымъ образомъ знакомитъ съ этимъ собираніемъ поэтами впечатлѣній. Беллетристъ Тригоринъ, одно изъ дѣйствующихъ лицъ комедіи, говоритъ, какъ его мысль постоянно занята запоминаніемъ разнообразныхъ впечатлѣній, могущихъ ему пригодиться впослѣдствіи: „Вижу вотъ облако, похожее на роаяль. Думаю: надо будетъ упомянуть гдѣ-нибудь въ разсказѣ, что плыло облако, похожее на роаяль. Пахнетъ гелиотропомъ. Скорѣе мотаю на усъ: приторный запахъ, вдовій цвѣтъ, упомянуть при описаніи лѣтняго вечера. Ловлю себя и васъ на каждомъ

словъ, на каждой фразѣ и слѣшу скорѣе запереть все эти фразы и слова въ свою литературную кладовую,—авось пригодятся!». Тутъ-же въ разговорѣ съ другими дѣйствующими лицами комедіи, Тригоринъ дѣлаеть замѣтки въ своей записной книжкѣ, слѣшить занести на бумагу мелькнувшій въ его головѣ сюжетъ разсказа. По всей вѣроятности, Чеховъ изобразилъ здѣсь отчасти процессъ собственной литературной работы. По крайней мѣрѣ, совершенно такимъ-же способомъ накопили матеріалъ для своего творчества многіе изъ нашихъ лучшихъ писателей. Въ этомъ отношеніи особенно много данныхъ мы имѣемъ опять-таки относительно Гоголя. Въ его бумагахъ сохранилось нѣсколько отрывковъ изъ записныхъ книжекъ, куда онъ каждый день вносилъ все, что подмѣчалъ или слышалъ въ обществѣ,—характерные житейскіе случаи, особенно мѣткія и удачныя слова и выраженія, стараясь закрѣпить ихъ на бумагѣ, говоря его словами, „покаместъ не простыли“. Вотъ для примѣра нѣсколько выдержекъ изъ этихъ записныхъ книжекъ, показывающихъ, что даже художественный, необыкновенно мѣткій языкъ произведеній Гоголя не есть результатъ непосредственнаго вдохновенія, а въ значительной степени основанъ на сознательной переработкѣ матеріала, почерпнутаго изъ дѣйствительности. Такъ, въ записной книжкѣ подъ 1842-мъ годомъ находимъ, между прочимъ, слѣдующія выраженія: изъ воды сухъ выйдетъ; чортъ по почамъ горохъ молотилъ на рождѣ; мальчишка сказалъ кондуктору: „молчи ты, подколесная пыль!"; выраженіе квартальнаго: „люблю деспотировать съ народомъ совсѣмъ дезабилье“; выраженіе Ноздрева: „сыгралъ, какъ молодой полубогъ“, и мног. др. Ясное дѣло, все эти выраженія поразили Гоголя своею колоритностью, и онъ поспѣшилъ ихъ записать, чтобы потомъ воспользоваться ими. Чѣмъ больше у Гоголя было въ запасѣ дѣйствительныхъ, реальныхъ впечатлѣній, тѣмъ художественнѣе выходили его образы. Вотъ почему, принимаясь за „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“, онъ просилъ свою мать сообщить ему въ письмахъ, не упуская ни малѣйшихъ подробностей, и описаніе полнаго наряда сельскаго дьячка, отъ верхняго платья до самыхъ сапоговъ, и мельчайшія подробности различныхъ свадебныхъ обычаевъ, и точное и вѣрное названіе различныхъ частей женскаго убора. По той-же причинѣ въ концѣ 40-хъ годовъ, чтобы собрать запасъ новыхъ впечатлѣній для второго тома „Мертвыхъ душъ“, онъ страстно желалъ проѣздиться по сѣверо-восточнымъ губерніямъ Россіи, которыя зналъ только по наслышкѣ; этимъ-же самымъ обстоятельствомъ объясняется, почему Гоголь въ 1840-мъ году просилъ выслать ему за границу миниатюрныя изданія „Онѣгина“, „Горя отъ ума“, басенъ Дмитріева и русскихъ пѣсенъ Сахарова для чтенія въ дорогѣ: ему нужно было вновь, какъ онъ пишетъ въ одномъ письмѣ, „назвучаться русскими звуками и рѣчью“, чтобы, при обработкѣ своихъ произведеній, „не нагрѣшить противъ языка“, т. е., другими словами, нужно было зашастись новыми, свѣжими впечатлѣніями, безъ которыхъ, онъ чувствовалъ, творчество его не могло итти, какъ слѣдуетъ.

Подобнымъ-же образомъ и Левъ Толстой, и Гончаровъ, создавая свои безсмертныя произведенія, тоже всегда опирались на впечатлѣнія отъ дѣйствительной жизни. Толстой не любитъ, какъ онъ выражается, писать „по слухамъ“, ему необходимо хорошо знать ту сторону жизни, которую онъ описываетъ, и только въ такомъ случаѣ у него выходитъ удачное произведеніе. Гончаровъ, по его собственнымъ словамъ, „писалъ только то, что переживалъ, что мыслить, чувствовалъ, что

любилъ, что близко видѣлъ и зналъ, словомъ, писалъ и свою жизнь и то, что къ ней прирастало“. То-же самое можно сказать и о творествѣ Некрасова, который, создавая, напримѣръ, свою „Орину—мать солдатскую“, основывался на дѣйствительномъ разсказѣ одной несчастной женщины; онъ нѣсколько разъ, возвращаясь съ охоты, дѣлалъ крюкъ, чтобы поговорить съ нею и получить возможно болѣе впечатлѣній и не сфальшивить. Такія вещи, напр., какъ „Коробейники“, „Крестьянскіе дѣти“, имѣютъ въ основѣ своей дѣйствительныя событія, проведенныя черезъ горнило творческой фантазіи поэта. Подобно Гоголю, Некрасовъ также дѣлалъ у себя въ записныхъ книжкахъ непонятныя для другихъ замѣтки и затѣмъ, во время работы, имѣлъ эти замѣтки всегда передъ глазами.

Итакъ, на основаніи сказаннаго, можно съ достаточнымъ основаніемъ утверждать, что наши поэты краски для своихъ художественныхъ образовъ брали изъ дѣйствительной жизни, тщательно запасая ихъ и внимательно подбирая при работѣ.

Мы разсматривали до сего времени процессъ творческой работы поэта; мы видѣли, какія душевныя силы принимаютъ участіе въ этой работѣ, какъ постепенно, шагъ за шагомъ, совершается она по мѣрѣ того, какъ выясняется художественный идеалъ, т. е. тотъ духовный образъ, который поэтъ-художникъ стремится воплотить въ поэтическомъ произведеніи. Но что является причиной того, что у поэта складывается извѣстная, опредѣленная концепція образовъ и положеній, тѣ, а не инныя поэтическія картины и типическія представленія, иначе говоря, каковы тѣ скрытыя душевныя пружины, которыя даютъ творческой фантазіи поэта въ данный моментъ извѣстное, опредѣленное направленіе? Вопросъ этотъ представляется достаточно любопытнымъ, такъ какъ отвѣтъ на него позволить намъ проникнуть, быть можетъ, въ сокровенныя мысли поэта, угадать глубокія думы, посѣтившія его въ моментъ зарожденія поэтическаго произведенія.

Душевные мотивы, побуждающіе художника слова дать то или иное направленіе своему творчеству, бываютъ весьма разнообразны. Часто поэтъ въ творествѣ ищетъ избавленія отъ собственныхъ мучительныхъ мыслей, отъ пережитыхъ душевныхъ волненій и невзгодъ. Онъ чувствуетъ, что, изобразивъ свой внутренній міръ, все пережитое и пережитое, онъ отдѣляется отъ него и будетъ способенъ къ новой жизни. Это чисто субъективное личное побужденіе къ творчеству. Тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе того, что поэтъ въ силу своей духовной организаціи, въ высшей степени чутко относится къ господствующимъ теченіямъ мысли современниковъ и болѣе, чѣмъ другіе люди, способенъ воспринимать и переживать самыя разнообразныя настроенія чувства и мысли, эта чисто личная подкладка творческой дѣятельности ничуть не уменьшаетъ значенія основанныхъ на ней произведеній.

Лучшей иллюстраціей сейчасъ сказаннаго можетъ служить большинство произведеній перваго періода литературной дѣятельности гр. Льва Толстого. „Дѣтство, отрочество и юность“, „Утро помѣщика“, „Война и миръ“, „Анна Каренина“—всѣ эти произведенія имѣютъ въ себѣ одинъ и тотъ же образъ въ разные моменты его развитія; а въ основѣ этого образа лежатъ личность самого автора, то, что онъ пережилъ и передумалъ въ различные періоды своей жизни. Николай Иртеневъ, князь Нехлюдовъ, Пьеръ Безуховъ, Левинъ—все это, внѣ всякаго сомнѣнія, самъ Левъ Толстой, какъ это ясно можно установить теперь, благодаря многочисленнымъ

біографическимъ даннымъ, ставшимъ извѣстными въ печати. Собственныя настроенія и думы, характерныя особенности своего „я“ облекались у Толстого въ художественные образы, и, надо предполагать, этотъ носящій субъективную окраску типъ былъ первоосновой создаваемого литературнаго произведенія. Его нужно было поставить въ извѣстную обстановку, окружить его такими лицами, вступаая въ сношенія съ которыми, онъ могъ бы возможно ярче проявить свои личныя, индивидуальныя свойства, высказать свое міровоззрѣніе и т. д. Такъ создались въ воображеніи поэта второстепенные персонажи, мѣсто и время дѣйствія, различныя отдѣльныя сцены, разговоры, картины и т. п. Матеріаломъ для всего этого послужилъ, конечно, богатый запасъ наблюденій, то сохранившійся въ головѣ поэта, то занесенный въ разныя времена на бумагу. Точно изъ тумана, выступали въ воображеніи художника другіе образы, которыми онъ окружаетъ своего главнаго героя. Онъ всматривается въ нихъ, они проясняются, растутъ, иные выдвигаются чуть не на первый планъ, другіе остаются въ тѣни, исчезаютъ, чтобы уступить мѣсто новымъ, видоизмѣняются до неузнаваемости и т. д. Иногда этотъ второстепенный образъ настолько можетъ овладѣть вниманіемъ художника, что онъ дѣлаетъ его центральной фигурой своего произведенія, какъ это у Л. Толстого произошло, напр., съ Анной Карениной въ романѣ того же имени.

Даже такой объективный художникъ, какъ Тургеневъ, и тотъ иногда въ основу своихъ произведеній клалъ лично переживаемыя настроенія, стремясь такимъ образомъ избавиться отъ назойливыхъ мыслей. Такія вещи, какъ „Призраки“ и „Довольно“, явились результатомъ стремленія отдѣлаться отъ проблемы смерти, ничтожества, которая не давала временами покоя Тургеневу.

Перейдемъ къ разсмотрѣнію другихъ скрытыхъ психическихъ мотивовъ, дающихъ одно опредѣленное направленіе творческой мысли писателя.

Къ такимъ мотивамъ принадлежитъ, между прочимъ, удивленіе автора предъ какимъ-нибудь жизненнымъ явленіемъ. Поэта поражаетъ тотъ или другой фактъ, его вниманіе прівлекается какимъ-нибудь лицомъ, въ которомъ онъ подмѣчаетъ нѣчто новое, какія то нигдѣ раньше не видѣнныя особенности и свойства. Это новое и служитъ исходной точкой творческой концепціи. Такъ бываетъ съ наиболее чуткими художниками, и, благодаря этому, произведенія нѣкоторыхъ авторовъ, точно въ зеркалѣ, отражаютъ въ себѣ всѣ новыя фазисы и настроенія наблюдаемой ими жизни, служатъ въ высшей степени цѣннымъ матеріаломъ для изученія общества въ ту или другую эпоху. Къ такимъ писателямъ у насъ принадлежалъ, между прочимъ, И. С. Тургеневъ, въ талантъ котораго небезосновательно указывалась одна характерная особенность,—умѣніе, какъ выражались критики, „ловить моментъ“, т. е. подмѣчать едва нарождавшіеся типы, идеи и настроенія и изображать ихъ, послѣ творческой переработки, въ художественныхъ произведеніяхъ. Изъ современныхъ намъ писателей подобнаго рода способностью „ловить моментъ“ отличается, наприкладъ, Боборыкинъ, въ цѣломъ рядѣ своихъ романовъ пытающійся болѣе или менѣе удачно изобразить все новое, возникающее въ культурномъ классѣ Россіи.

Иногда, особенно у тѣхъ писателей, которые обладаютъ сильно развитымъ чувствомъ общественности и желаютъ своей дѣятельностью вліять на современниковъ, силой, направляющей ихъ творчество, является стремленіе воздѣйствовать на окружающую ихъ среду, исправлять нравы своихъ соотечественниковъ. Сочиненія ихъ,

говоря словами Лермонтова, „диктуетъ совѣсть, перомъ сердитый водить умъ“. Всѣ поэтическія произведенія такъ называемаго дидактическаго характера, какъ сатиры всѣхъ видовъ и басни, а также и многіе другіе роды поэзіи появляются на свѣтъ именно подъ вліяніемъ такого настроенія поэта. Его не нужно смѣшивать съ грубой тенденціозностью нѣкоторыхъ авторовъ, стремленіемъ, во что-бы то ни стало, выразить своими образами опредѣленную идею нравственнаго или общественнаго характера. Въ такомъ случаѣ, если поэтъ напередъ сознательно указываетъ себѣ цѣль, къ которой онъ долженъ пригонять создаваемые имъ образы или концепціи, въ результатѣ, какъ извѣстно, получается нѣчто въ высшей степени ходульное и не художественное. Поэтъ можетъ вполне ясно представлять идею, которая впоследствии будетъ вытекать изъ его произведенія, но эта идея, возникшая первоначально въ умѣ, въ самый моментъ творчества должна уже овладѣть вполне чувствомъ, настроеніемъ поэта, и послѣдній безсознательно, подъ вліяніемъ уже не идеи, а извѣстнаго настроенія, будетъ создавать тѣ или иные картины или образы. Такъ создавались „Ревизоръ“ и „Мертвыя души“ Гоголя, такъ возникли лучшія произведенія сатирическаго характера русской и иностранной литературы. Относительно, напримѣръ, „Ревизора“ извѣстно, что Гоголь, принимаясь за эту комедію, рѣшилъ изобразить въ ней „всѣ несправедливости, какія дѣлаются въ тѣхъ мѣстахъ и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ больше всего требуется отъ человѣка справедливости, и за одинъ разъ посмѣяться надъ всѣмъ“, — побужденіе чисто моральнаго и общественнаго характера.

Есть еще одинъ скрытый мотивъ, дающій извѣстное, опредѣленное направленіе творческой мысли писателя. Коротко его можно охарактеризовать, какъ стремленіе къ самобичеванію, самообличенію, вытекающее, какъ результатъ, изъ сознанія собственныхъ недостатковъ и несовершенствъ. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно характернымъ является изреченіе Ибсена: „творить—то значитъ надъ собою неліцемерный судъ держать“. Такой неліцемерный судъ очень часто, можно полагать, держать надъ собою поэты-художники, придавая изображаемымъ типамъ свои пороки и недостатки, осмѣивая ихъ часто съ самой искренней злобой и негодованіемъ. Для нѣкоторыхъ это является средствомъ отдѣлаться отъ темныхъ сторонъ собственнаго характера. Такъ, Гоголь прямо заявляетъ, что отъ многихъ своихъ дурныхъ качествъ отдѣлался тѣмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, осмѣялъ ихъ и заставилъ другихъ надъ ними посмѣяться. Тургеневъ, по поводу этого заявленія Гоголя, добавляетъ, что писатель испытываетъ своеобразное наслажденіе въ казненіи самого себя, своихъ недостатковъ изображаемыхъ въ вымышленныхъ лицахъ.

Ни на кого изъ нашихъ поэтовъ не дѣйствовала такъ сильно эта побудительная причина къ творчеству въ отмѣченномъ сейчасъ направленіи, какъ на Некрасова. Цѣлый рядъ его большихъ и малыхъ произведеній представляетъ собою не что иное, какъ казнь самого себя, обличеніе собственныхъ недостатковъ и слабостей, исповѣдь наболѣвшаго грѣшнаго сердца.

Изъ сказаннаго видно, что представленіе о творчествѣ, какъ о чемъ-то совершенно непонятномъ и таинственномъ, должно быть въ значительной мѣрѣ оставлено. Мы знаемъ теперь, что оно имѣетъ въ своей основѣ, какъ и научно-философская дѣятельность, логическое мышленіе, идею, хотя часто неясную самому ху-

дожнику, тѣмъ не менѣе все-же существующую; въ дальнѣйшемъ творческомъ процессѣ это мышленіе принимаетъ вполне сознаваемое и поддающееся наблюденію участіе.

Но не подлежитъ сомнѣнію, что какъ-бы ни было обширно творческое дарованіе поэта, оно необходимо исходить въ своей созидающей работѣ изъ тѣхъ впечатлѣній, которыя получаетъ авторъ отъ окружающей жизни, или-же ищетъ для себя матеріала въ духовномъ мірѣ самого писателя.

Разъ это такъ, то отсюда ясно, что въ дѣлѣ творческой переработки жизненныхъ впечатлѣній огромную роль играетъ міровоззрѣніе поэта, степень его умственного и нравственного развитія, его взгляды и отношеніе къ текущей и прошлой жизни своего народа и вообще человѣчества. Общее міровоззрѣніе поэта есть тотъ уголь зрѣнія, подъ которымъ онъ созерцаетъ несущуюся мимо него жизнь, и въ зависимости отъ этого въ его произведеніяхъ отражается то одна, то другая сторона современной дѣйствительности, затрагиваются тѣ или другіе вопросы, рѣшаются различныя проблемы человѣческаго существованія. Никто не можетъ насильственно направлять творчество поэта въ какую-нибудь опредѣленную сторону, заставить его обращать вниманіе на одни явленія жизни и отображать ихъ въ своихъ созданіяхъ, проходя молчаливо мимо другихъ. Поэтическое творчество произвольно въ томъ смыслѣ, что поэтъ и самъ не знаетъ, почему въ данный моментъ его фантазія создаетъ извѣстные, тѣ, а не другіе образы; они есть плодъ всей личности поэта, опредѣляются общимъ уровнемъ его умственного и нравственного развитія и тѣми впечатлѣніями, какія онъ получилъ. Чѣмъ образованнѣе поэтъ, чѣмъ шире его умственный и нравственный кругозоръ, тѣмъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, цѣннѣе во всѣхъ отношеніяхъ будутъ его произведенія.

Такъ происходитъ поэтическое творчество у нашихъ писателей-реалистовъ, послѣдователей такъ называемой натуральной школы, основанной Пушкинымъ и Гоголемъ. Взгляды этого великаго юмориста на процессъ созданія романа и повѣсти во многомъ напоминаютъ теоретическія воззрѣнія на тотъ-же предметъ французскихъ представителей реального романа, въ родѣ Густава Фробера, братьевъ Гонкуровъ и другихъ. Только этотъ реальный романъ, послѣднее слово художественнаго прогресса на Западѣ, существуетъ у насъ болѣе шестидесяти лѣтъ, со времени появленія въ свѣтъ „Капитанской дочки“. Еще въ 1833-мъ году Пушкинъ, какъ истый реалистъ, впервые прибѣгъ къ тому приему, который впоследствии, 50 лѣтъ спустя, ставили въ особенную заслугу современнымъ французскимъ натуралистамъ: онъ совершилъ поѣздку по всѣмъ мѣстамъ, ознаменованнымъ пугачевскимъ бунтомъ, стараясь собрать показанія и свидѣтельства немногихъ очевидцевъ. Еще Гоголь незадолго до смерти высказалъ въ высшей степени вѣрную мысль о томъ, что истинными художниками слова должны считаться не тѣ, которые производятъ выдуманныя, идеализированныя созданія, и не копійсты дѣйствительности, стремящіеся „быть бездушно вѣрными природѣ“, а создатели высокихъ твореній на основаніи матеріаловъ, воспринятыхъ и собранныхъ изъ окружающей жизни, въ которые поэтъ влагаетъ „душу живу“. И позднѣйшіе русскіе писатели-реалисты не отступали отъ пути, проложеннаго Пушкинымъ и Гоголемъ, не вдавались въ крайности натурализма, подобно многимъ западно-европейскимъ авторамъ, когда художественное произведеніе обращается въ бездушный фотографическій снимокъ грязной дѣйстви-

тельности. И въ этомъ умѣнїи удержаться въ истинныхъ предѣлахъ художественнаго реализма кроется до извѣстной степени современный успѣхъ русской литературы у нашихъ западныхъ сосѣдей, которые высоко ставятъ нашихъ литературныхъ корюеевъ и нерѣдко подражаютъ имъ въ лицѣ своихъ молодыхъ талантовъ.

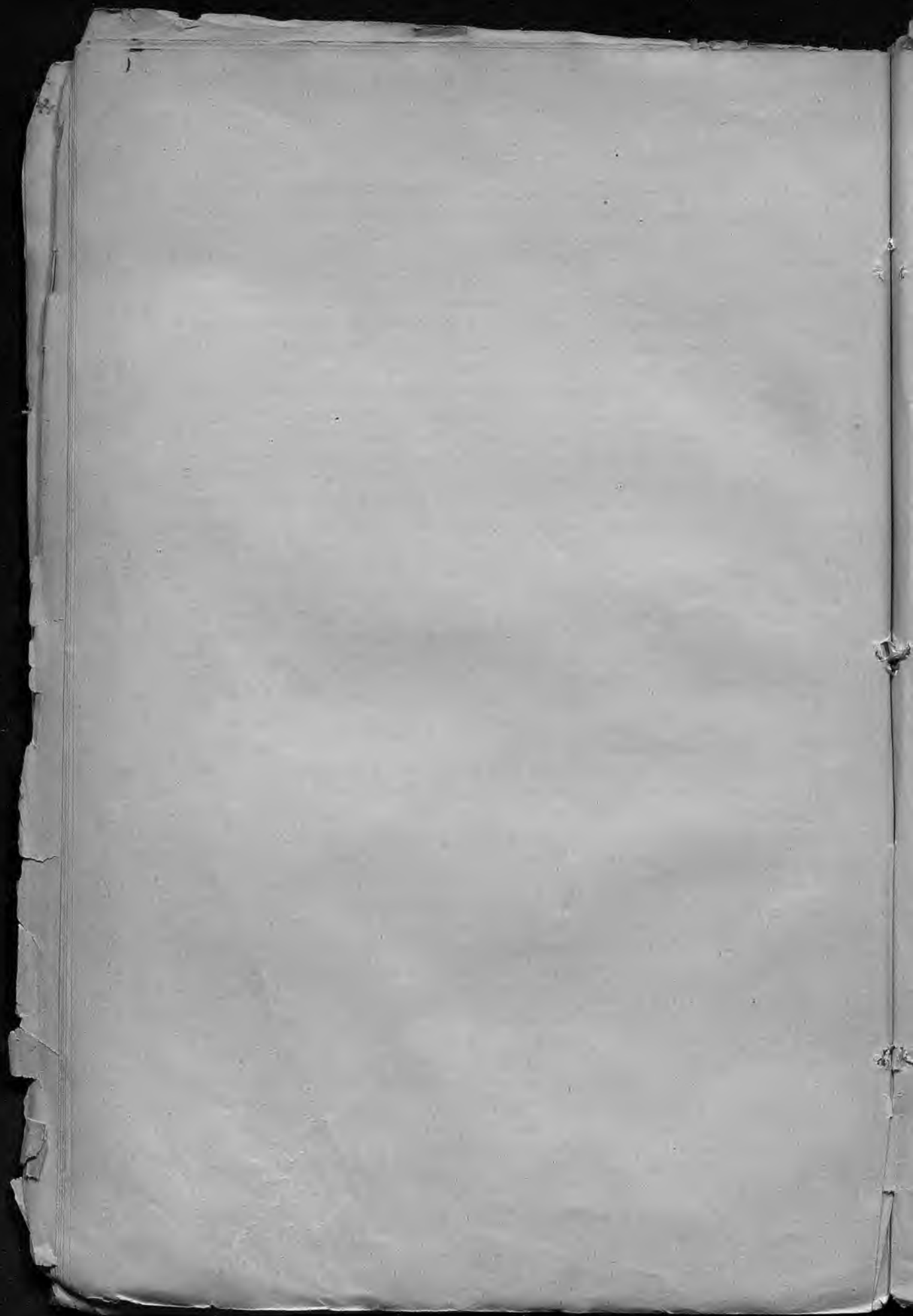
Исходя въ своемъ творествѣ изъ впечатлѣній дѣйствительной жизни и тѣмъ самымъ чутко относясь къ ея явленіямъ, наша литература въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей вслѣдствіе этого въ значительной степени имѣла громадное воздѣйствіе на русское общество.

Таковы результаты разсмотрѣннаго выше психологическаго процесса въ творествѣ русскихъ писателей послѣ-гоголевской школы. „По плодамъ ихъ познаете ихъ“: очевидно, наше художественное литературное творчество стоитъ на правильномъ пути, и русская литература вслѣдствіе этого заняла въ такое короткое время видное мѣсто среди міровыхъ литературъ Запада.

Побольше же любви и вниманія къ отечественной словесности, чтобы не оправдались и для нашего времени горькія слова Щедрина о томъ, что русскій писатель пописываетъ, а читатель почитываетъ, и нѣтъ между ними никакого духовнаго общенія, никакой внутренней, моральной связи. Пусть лучше исполнятся на насъ другія слова великаго сатирика, сказанныя въ предсмертномъ письмѣ къ сыну, гдѣ онъ завѣщаетъ ему любить русскую литературу. Будемъ и мы любить эту литературу, — она стоитъ того, она наша гордость, наша слава, и, перефразируя извѣстныя слова Тургенева о русскомъ языкѣ, можно сказать: не вѣрится, чтобы такая литература была дана не великому народу!..

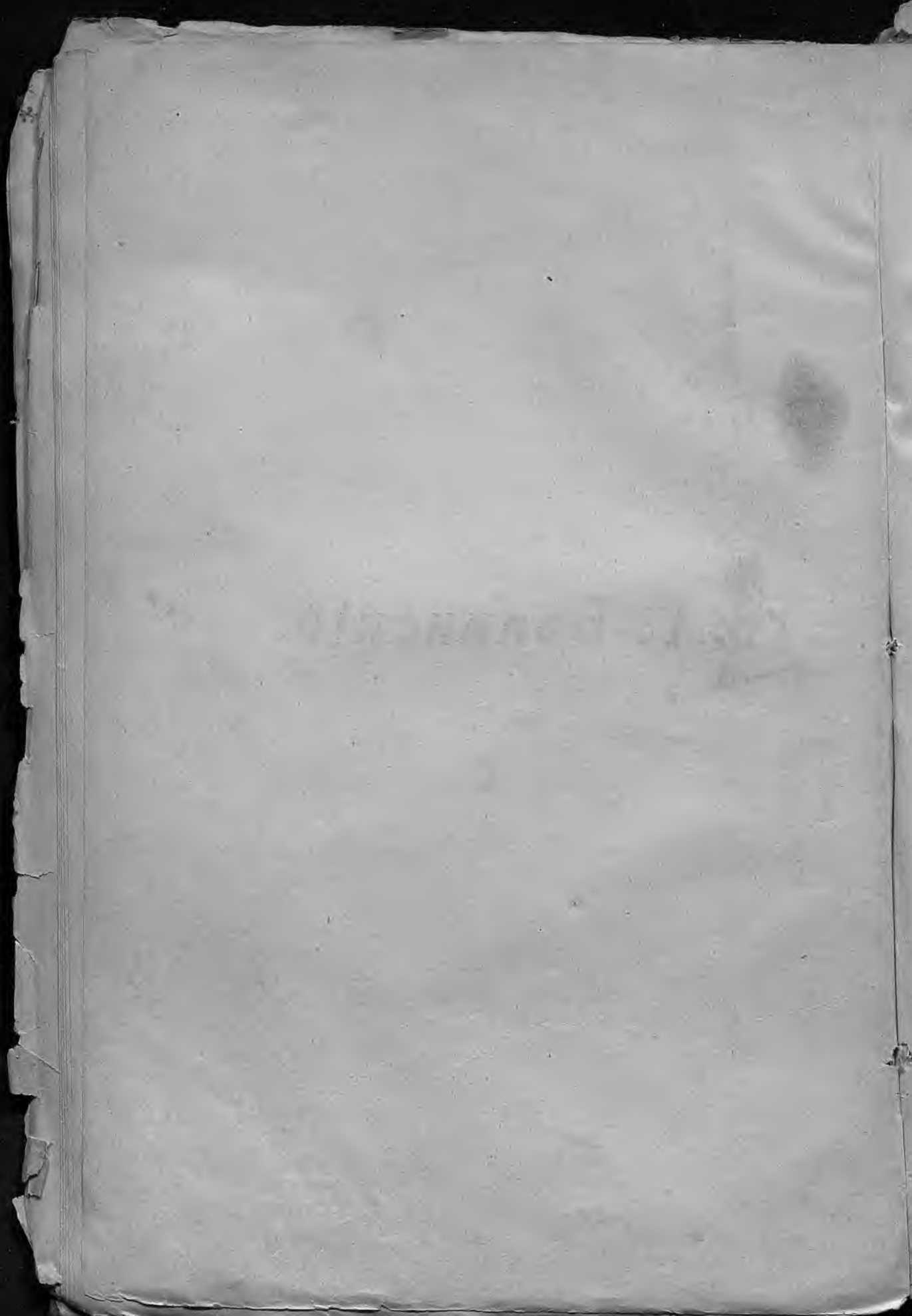
16^{го} 2-го Француз. Вѣст. Я. М. 1881





В. Г. Бѣлинскій.





В. Г. Бѣлинскій

Имя Виссаріона Григорьевича Бѣлинскаго неразрывными узами связано съ однимъ изъ самыхъ выдающихся періодовъ русской литературы, давшимъ цѣлый рядъ великихъ дѣятелей на нивѣ отечественной словесности. Невозможно говорить о дѣятельности корнеевъ нашей литературы—Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова и даже позднѣйшихъ нашихъ знаменитыхъ писателей, какъ Достоевскій, Тургеневъ, Гончаровъ, безъ того, чтобы въ сужденіяхъ объ ихъ поэтической дѣятельности не вспомнить того огромнаго вліянія, какое Бѣлинскій оказывалъ какъ на ихъ личное творчество, такъ и на истолкованіе ихъ произведеній.

Но значеніе Бѣлинскаго далеко не ограничивается его вліяніемъ на ходъ развитія нашей литературы: его въ значительной степені можно назвать „владельцемъ думъ“ эпохи пробужденія русской самостоятельной мысли во вторую четверть истекшаго столѣтія, сохранившимъ свое значеніе и гораздо позднѣе, вплоть до нашихъ дней.

Что же представлялъ собою Бѣлинскій, и какова его роль въ исторіи развитія русской литературы, а слѣдовательно, и русскаго самосознанія?

Выясняя значеніе литературной дѣятельности какого-либо писателя, почти всегда бываетъ необходимо рассмотреть его природную духовную организацію и тѣ воздѣйствія извнѣ, которымъ подвергался онъ въ теченіе своей жизни, и которыя отразились на общемъ строѣ его характера и міровоззрѣнія. Тутъ всегда приходится считаться съ общими настроеніемъ эпохи, господствовавшими общественными теченіями, наконецъ, съ чисто случайными вліяніями, которыя порою имѣютъ рѣшающее значеніе для выработки убѣжденій отдѣльной личности. Но прежде чѣмъ говорить объ условіяхъ, въ которыхъ протекли первые годы жизни Бѣлинскаго, необходимо отмѣтить наиболее существенныя черты его духовнаго облика, иначе безъ этого будетъ совершенно непонятно, какъ не погибла въ самомъ началѣ эта удивительная натура, какъ не поддавалась она всеокружающему вліянію тлетворной среды.

Бѣлинскій по своимъ личнымъ качествамъ принадлежалъ къ тѣмъ немногимъ натурамъ, которыя, вопреки всѣмъ неблагоприятнымъ условіямъ, изрѣдка вдругъ появляются въ томъ или другомъ обществѣ точно для того, чтобы показать, до какого высокаго благородства и нравственной чистоты можетъ возвыситься человѣческая личность.

212
1847/18

Среди врожденных свойств Бѣлинскаго слѣдуетъ отмѣтить, прежде всего, необыкновенно ясный, логическій умъ, строго послѣдовательный и не боявшійся самыхъ крайнихъ выводовъ, разъ они вытекали изъ признанныхъ положеній. Ничто не было въ состояннн ослабить этой поразительной логики, и разъ какое нибудь положеніе было принимаемо имъ за истину, онъ безбоязненно, часто вопреки задушевнымъ своимъ чувствамъ и связямъ, дѣлалъ изъ него всѣ возможные выводы, не останавливаясь на полъ-дорогѣ.

Другой не менѣ цѣнной чертой личности Бѣлинскаго была глубокая вѣрность исповѣдуемымъ убѣжденіямъ. Трудно представить себѣ другого человѣка, который бы съ ранней юности и до конца дней своихъ такъ горячо и неустанно ратовалъ за то, что считалъ истиной, рискуя часто своимъ благосостояніемъ, личными привязанностями, заглушая даже порою голосъ внутренняго чувства. Только такія натуры способны своей дѣятельностью расколыхать инертную массу общества и привить ему тѣ или иные взгляды путемъ безпрестанной и страстной ихъ пропаганды.

Это свойство идейнаго борца (за него онъ получилъ отъ друзей прозваніе неистоваго Виссаріона) соединялось въ Бѣлинскомъ съ глубокимъ, лежащимъ въ корнѣ его организацин, прирожденнымъ стремленіемъ къ истинѣ и неподкупной, чисто органической честностью. Всю свою жизнь провелъ Бѣлинскій въ страстныхъ поискахъ за истиной, не разъ сжигая то, чему поклонялся, и поклоняясь тому, что сжигалъ. Эта довольно быстрая смѣна взглядовъ часто ставилась въ упрекъ Бѣлинскому; въ ней желали видѣть отсутствіе всякихъ убѣжденій, легкомысліе, неспособность глубоко проникнуться одной какой-либо идеей. Но стоитъ только нѣсколько глубже всмотрѣться въ процессъ умственнаго роста Бѣлинскаго, и тогда станутъ яснымъ, насколько неосновательны и даже прямо ложны всѣ подобныя упреки, шедшіе изъ лагеря старыхъ и новыхъ враговъ Бѣлинскаго. Трудно найти другого человѣка, который бы съ такой энергіей и горячностью отстаивалъ свои задушевные убѣжденія, считаемыя имъ въ данный моментъ непреложной истиной. Правда, что въ теченіе непродолжительной своей литературной дѣятельности, — всего какихъ нибудь 14 лѣтъ, — Бѣлинскій рѣзко мѣнялъ свои литературные и общественные взгляды и убѣжденія, но правда и то, что всякій разъ эта ломка сопровождалась тяжелой внутренней борьбой, свидѣтельствовавшей о томъ, съ какимъ трудомъ давался этотъ переходъ отъ старыхъ взглядовъ къ новымъ, считаемыхъ почему-либо болѣе истинными и справедливыми. Чего стоила Бѣлинскому перемѣна взглядовъ, какихъ тяжелыхъ сомнѣній и борьбы, на это указываютъ до извѣстной степени его собственныя слова въ одной изъ статей. „Что касается до вопроса, — говоритъ онъ, —сообразна ли со способностью, страстнаго, глубокаго убѣжденія способность измѣнять его, онъ давно рѣшенъ для всѣхъ, кто любитъ истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать своимъ самолюбіемъ, откровенно признаваясь, что онъ, какъ и другіе, можетъ ошибаться и заблуждаться. Для того же, чтобы судить, легко ли отдѣлывался такой человѣкъ отъ убѣжденій, которыя уже не удовлетворяли его, или это всегда было для него болѣзненнымъ процессомъ, стоило ему горькихъ разочарованій, тяжелыхъ сомнѣній, мучительной тоски, для того, чтобы судить объ этомъ, прежде всего надо быть увѣреннымъ въ своемъ безпристрастнн и добросовѣстности“.

Горячая вѣра въ исповѣдуемые принципы передавалась и его читателямъ, которые невольно подчинялись могучей силѣ убѣжденія, сквозящей въ каждой строкѣ, въ каждомъ словѣ. Тургеневъ въ воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ приводитъ очень яркій образчикъ того, какъ дѣйствовали его статьи на читателей, совершенно даже не раздѣлявшихъ его взглядовъ. Тургеневъ въ молодости поклонялся предъ поэтическими произведеніями Бенедиктова. Бѣлинскій однажды „разнесъ“ ихъ въ одной изъ журнальныхъ статей. Тургеневъ вознегодовалъ на дерзкаго критика и былъ поддержанъ въ своемъ негодованіи поклонниками Бенедиктова. „Но,—замѣчаетъ Тургеневъ,—къ собственному моему изумленію и даже досадѣ, что-то во мнѣ сильно соглашалось съ критикомъ и находило его доводы убѣдительно, неотразимы. Я стыдился этого, уже точно неожиданнаго впечатлѣнія, я старался заглушить въ себѣ этотъ внутренний голосъ, въ кругу читателей я съ большей еще рѣзкостью отзывался о самомъ Бѣлинскомъ и его статьѣ... Но въ глубинѣ души что-то продолжало шептать мнѣ, что онъ правъ... Пройло нѣсколько времени,—и я уже не читалъ Бенедиктова“. Вообще, по отзывамъ современниковъ, дѣйствіе статей Бѣлинскаго на читателей было поразительно. „Бѣлинскій,—говоритъ Кавелинъ,—на меня и на всѣхъ имѣлъ чарующее дѣйствіе. Это было дѣйствіе чловѣка, который не только шелъ далеко впередъ насъ, не только освѣщалъ и указывалъ намъ путь, но всѣмъ своимъ существомъ жилъ для тѣхъ идей и стремленій, которыя жили въ насъ, отдавая имъ страстно, наполняя ими все свое бытіе“. Это вліяніе Бѣлинскаго, въ значительной степени, объясняется общей, такъ сказать, высотой его нравственнаго настроенія, отражающагося и на его статьяхъ. Это была личность съ глубокимъ чувствомъ правды и человѣческаго достоинства, съ широкой гуманностью, необыкновенной отзывчивостью, особенно къ страданію другого.

Страстное исканіе истины, обуславливающее собою перемѣны въ мировоззрѣніи, шло у Бѣлинскаго рука объ руку съ чрезвычайно послѣдовательнымъ, логическимъ умомъ. Одинъ изъ современниковъ, оставившій любопытныя воспоминанія о Бѣлинскомъ, говоритъ, что онъ, усвоивши то или другое положеніе, не блѣднѣлъ ни передъ какимъ послѣдствіемъ, не останавливался ни передъ моральнымъ приличіемъ, ни передъ мнѣніемъ другихъ, котораго такъ страшатся люди слабые и несамобытныя.

Не менѣ значенія имѣть и его тонкое художественное чутье, съ поразительной вѣрностью отгадывавшее истинно поэтическія произведенія и умѣвшее раскрывать ихъ достоинства для читателей. Ниже мы будемъ имѣть случай привѣсти нѣсколько фактовъ, доказывающихъ, насколько Бѣлинскій глубоко понималъ и цѣнилъ настоящіе поэтическіе таланты и имѣлъ блестяще объяснить ихъ обществу. Къ выдающимся природнымъ свойствамъ Бѣлинскаго нужно отнести также поразительный лиризмъ, проникавшій все его существо и придававшій необычайную силу и убѣдительность всему, что онъ писалъ. Этой стороной своего дарованія Бѣлинскій сразу покоряетъ себѣ читателя, и послѣдній, часто не разобравшись хорошенько въ логическихъ доводахъ, невольно подчиняется его взглядамъ, отстаиваемымъ съ такой страстностью и искренностью.

Нельзя не отмѣтить также чисто, такъ сказать, общественной жилки Бѣлинскаго, стремленія дѣлиться своими мыслями и наблюденіями съ окружающимъ

на
его
осы
уть
въ
тъ:
ю-
а-
го
ь

обществомъ. Послѣдняя черта, столь необходимая для литератора, была въ высшей степени развита въ Бѣлинскомъ и сдѣлала изъ него настоящаго общественнаго дѣятеля, въ благороднѣйшемъ смыслѣ этого слова, несмотря на то, что кругъ его дѣятельности почти не выходилъ за предѣлы литературно-публицистической критики.

Всѣ эти природныя качества, соединенныя съ блестящимъ литературнымъ талантомъ, подъ вліяніемъ эпохи и различныхъ случайныхъ обстоятельствъ, выработались въ Бѣлинскомъ въ крупное критическое дарованіе, на долю котораго выпала завидная участь стать создателемъ русской критики.

Чтобы выяснить тѣ воздѣйствія, подъ вліяніемъ которыхъ слагались личность и міровоззрѣніе Бѣлинскаго, мы остановимся нѣсколько на отдѣльныхъ моментахъ развитія нашего критика.

Бѣлинскій родился въ февралѣ 1810-го г. въ г. Свеаборгѣ, въ семьѣ флотскаго врача. Въ 1816-мъ г. отецъ Бѣлинскаго получилъ мѣсто уѣзднаго дѣкаря въ г. Чембарѣ Пензенской губ., гдѣ и протекли дѣтскіе годы нашего критика.

Когда всматриваешься въ жизнь Бѣлинскаго, особенно въ первыя его дѣтскія и юношескія впечатлѣнія, невольно поражаешься, какъ та тяжелая домашняя и общественная обстановка, въ которой пришлось вырасти нашему критику, не только не уничтожила лучшихъ сторонъ его натуры, но даже какъ будто своимъ отрицательнымъ дѣйствіемъ еще болѣе усилила ихъ. Какъ и у большинства нашихъ лучшихъ людей, вышедшихъ изъ такъ называемаго средняго сословія, первыя дѣтскія впечатлѣнія Бѣлинскаго мало имѣли въ себѣ свѣтлыхъ страницъ и, во всякомъ случаѣ, были не изъ такихъ, чтобы имъ можно было приписать благотворное вліяніе на развитіе богатыхъ природныхъ дарованій будущаго знаменитаго духовнаго вождя Россіи. Родная семья, которая, какъ извѣстно, раньше всего оказываетъ вліяніе на духовный обликъ человѣка, насколько можно судить по нѣсколько противорѣчивымъ даннымъ, не слишкомъ то лелѣяла будущаго критика. Впослѣдствіи въ одномъ изъ писемъ къ Боткину Бѣлинскій такъ вспоминаетъ свое дѣтство: „мать моя... была охотница рыскасть по кумушкамъ, я, грудной ребенокъ, оставался съ нянькой, нанятою дѣвкой: чтобы я не беспокоилъ ее своимъ крикомъ, она меня душила и била. Отецъ меня терпѣть не могъ, ругалъ, унижалъ, придирался, билъ нещадно и площадно; я въ семьѣ былъ чужой“. Видя вокругъ себя дикій произволь, тяжелыя семейныя отношенія между отцомъ и матерью, отвратительное общество мелкихъ дореформенныхъ чиновниковъ, предававшихся самымъ безшабашнымъ кутежамъ, постоянное оскорбленіе человѣческой личности, чуткій къ добру ребенокъ еще тогда возненавидѣлъ житейскую ложь и грязь, и эта ненависть ко всякой неправдѣ перешла въ его плоть и кровь и сохранилась до конца жизни.

Но тяжелая домашняя и общественная обстановка, окружавшая чуть не съ колыбели маленькаго Бѣлинскаго, не помѣшала его первоначальному развитію. Теперь довольно трудно рѣшить, кто собственно былъ первымъ духовнымъ руководителемъ маленькаго Виссаріона. По всей вѣроятности, богато одаренная, пытливая натура ребенка находила первое удовлетвореніе своей жаждѣ знаній, быть можетъ, въ книгахъ отца, человѣка все-же для того времени достаточно образованнаго. Въ

1823-мъ году 13-лѣтній Бѣлинскій, бывший тогда ученикомъ уѣзднаго училища, уже поражалъ наблюдателя своимъ развитіемъ и умѣніемъ разобраться въ довольно сложныхъ для его возраста вопросахъ. По его словамъ, въ это время онъ денно и нощно безъ всякаго разбора, списывалъ стихотворенія Карамзина, Дмитріева, Сумарокова, Державина, Хераскова, плакалъ, читая „Бѣдную Лизу“ Карамзина и „Марьяну рошу“ Жуковскаго, писалъ баллады и думалъ, что онъ не хуже балладъ Жуковскаго. Такимъ образомъ, чтеніе уже тогда было любимымъ занятіемъ его, и многое мимоходомъ запало въ его крѣпкую память.

Далѣе слѣдуютъ годы ученія въ Пензенской губ. гимназій, гдѣ онъ пробылъ около четырехъ лѣтъ и въ 1829-мъ году былъ вычеркнутъ изъ списковъ съ отмѣткой „за нехождение въ классъ“. Занимался Бѣлинскій очень неровно: единицы и двойки по математикѣ и латинскому языку въ его аттестациі стоять на ряду съ высшимъ балломъ—четверками по исторіи, географіи, естественной исторіи и русской словесности. Сохранились любопытныя воспоминанія Буслаева и Лажечникова о Пензенской гимназій почти въ тотъ самый періодъ времени, когда тамъ учился Бѣлинскій. Изъ этихъ воспоминаній видно, что гимназія не могла много дать своимъ ученикамъ, и неудивительно, что Бѣлинскій предпочиталъ сидѣть дома, чѣмъ посѣщать скучныя классы. Но тутъ онъ ни одной минуты не терялъ даромъ: вѣчно что-нибудь читалъ, дѣлалъ выписки, замѣтки. Давнишняя любовь къ чтенію еще болѣе усилилась подъ вліяніемъ одного изъ учителей, Попова, и обратилась на художественную литературу. Вскорѣ онъ въ этой области сталъ полнымъ хозяиномъ, и его руководитель не могъ надивиться его свѣдѣніямъ и тонкому пониманію литературныхъ произведеній. По его отзывамъ, въ Пензѣ нельзя было найти кого-нибудь другого, съ кѣмъ можно было такъ душевно и съ такимъ интересомъ разговаривать о литературѣ, какъ съ нимъ. Вліяніе этого Попова и является, въ сущности, единственной свѣтлой страницей гимназическихъ годовъ Бѣлинскаго. Какъ бы тамъ ни было, но выбывши изъ третьяго класса гимназій, за полтора года до окончанія курса, Бѣлинскій вполне удовлетворительно выдержалъ экзаменъ въ Московскій университетъ, и это показываетъ, на сколько все же онъ хорошо овладѣлъ школьной наукой.

Университетскій періодъ жизни Бѣлинскаго является наиболее важнымъ по своему вліянію, и на немъ стоитъ остановиться нѣсколько подробнѣе. Московскій университетъ и Царскосельскій лицей, по отзывамъ современниковъ, сыграли видную роль въ русскомъ образованіи первой половины XIX-го столѣтія. Туда, какъ въ общій резервуаръ, вливались юныя силы Россіи со всѣхъ сторонъ, изъ всѣхъ слоевъ, въ его залахъ онъ очищались отъ предразсудковъ, захваченныхъ у домашняго очага, приходили къ одному уровню, братались между собою и снова разливались во всѣ стороны Россіи. Двери его были открыты всякому, кто могъ выдержать экзаменъ. Бѣлинскій попалъ въ университетъ какъ разъ въ эпоху его возрожденія. Въ профессорской средѣ появляются молодые даровитые профессора, какъ Павловъ, Надеждинъ, Шевыревъ, Погодинъ, которые вносятъ новый, свѣжій элементъ въ университетское преподаваніе. Параллельно съ этимъ происходитъ перемѣна и въ студенчествѣ: молодежь забываетъ прежніе кутежи, интересуется научными, философскими и нравственными вопросами. Образуются отдѣльные кружки студентовъ, занятые самообразованіемъ и рѣшеніемъ жгучихъ философ-

на
его
сыть
въ
тъ:ю-
а-
готь
о-
г-г-
г-
г-о
з
г

скихъ и политическихъ вопросовъ. Двумъ изъ этихъ кружковъ суждено было воспитать всѣхъ лучшихъ людей сороковыхъ годовъ. Въ одномъ изъ кружковъ, группировавшемся около Станкевича, дебатировались отвлеченные вопросы, касающіеся эстетики, философіи и литературы; напротивъ того, другой кружокъ особенно интересовался политикой и социальнымъ устройствомъ.

Векорѣ оба кружка сблизились и нерѣдко сообща обсуждали разнаго рода вопросы. Къ первому кружку, въ которомъ въ разное время участвовали такія лица, какъ Аксаковъ, Кетчеръ, Ключниковъ, Боткинъ, Грановскій, примкнулъ и Бѣлинскій. Эти имена показываютъ, какое оживленіе должно было царствовать въ кружкѣ, члены котораго, столь различные по своимъ позднѣйшимъ взглядамъ, объединялись теперь общими стремленіями къ истинѣ и заманчивой перспективою рѣшенія глубочайшихъ вопросовъ челоѣческой мысли. Главнымъ предметомъ ихъ безконечныхъ бесѣдъ и горячихъ споровъ, такъ любимыхъ русскимъ челоѣкомъ, была философія Шеллинга, а впоследствии, съ половины 30-хъ годовъ, ученіе Гегеля, отвлеченными положеніями котораго Бѣлинскій и его друзья увлекались до самозабвенія. Одинъ изъ друзей Бѣлинскаго, вспоминая впоследствии свою университетскую жизнь, такъ характеризуетъ это увлеченіе Гегелемъ: „Нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ логики, двухъ эстетики, энциклопедии и пр., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи „перехватывающаго духа“, принимали за обиды мнѣнія объ „абсолютной личности“ и ея „по себѣ бытіи“. Вопросы философскіе обыкновенно ставились у нихъ въ тѣсную связь съ литературными произведеніями русскими и иностранными. По отзывамъ одного современника, этотъ кружокъ былъ полезенъ для Бѣлинскаго, чѣмъ Московскій университетъ. Тутъ онъ вращался среди людей, не глубоко ученыхъ, но такихъ, въ кругу которыхъ обсуждались всѣ современные живые и любопытные вопросы. „Эти люди, большею частью молодые, кипѣли жаждой познаній, добра и чести. Почти всѣ они, зная иностранные языки, читали столько же иностранные, сколько и русскіе книги и журналы. Каждый изъ нихъ не былъ профессоромъ, но всѣ вмѣстѣ по части философіи, исторіи и литературы стояли бы противъ цѣлой Сорбонны. Въ этой-то школѣ Бѣлинскій оказалъ огромные успѣхи. Друзья и не замѣчали, что были его учителями, а онъ, вводя ихъ въ споры, горячась съ ними, заставлялъ ихъ выкладывать передъ нимъ всѣ свои познанія, глубоко вбиралъ въ себя слова ихъ, на лету схватывалъ замѣчательныя мысли, развивалъ ихъ далѣе и объемистѣе, чѣмъ тѣ, которые ихъ высказывали“.

Въ этихъ постоянныхъ литературно-философскихъ бесѣдахъ, направленныхъ на лучшія произведенія мировыхъ гениевъ, развивался и крѣпъ природный эстетическій вкусъ Бѣлинскаго, а давнишняя любовь къ русской литературѣ и обширная начитанность въ ней давали возможность безъ особаго труда примѣнять добытыя положенія къ отечественной словесности и мало по малу вырабатывать на нее свою точку зрѣнія. Этотъ же самый философскій кружокъ, несмотря на то, что, повидимому, совершенно чуждался какихъ бы то ни было увлеченій современностью, на самомъ дѣлѣ мало по малу вырабатывалъ критическое отношеніе къ тогдашней невеселой русской дѣйствительности. Это нужно приписать, съ одной стороны, вліянію другаго кружка, а съ другой—и самому характеру

Субъектъ Никольского

увлеченія философскими вопросами: „мы тогда въ философіи искали всего на свѣтѣ, кромѣ чистаго мышленія“, говорить по этому поводу Тургеневъ, и его свидѣтельство показываетъ, какъ легко самыя, повидимому, отвлеченныя вопросы могли ставиться въ тѣсную связь со злобой дня.

Наконѣцъ, говоря о студенческихъ годахъ Бѣлинскаго, необходимо вспомнить о вліяніи на его литературныя взгляды проф. Надеждина, писавшаго сначала въ „Вѣстн. Евр.“, а затѣмъ, до 1836-го года, издаваемаго свой собственный журналъ: „Телескопъ“. Имя Надеждина почти неизвѣстно у насъ теперь и очень мало говорить современному читателю, а между тѣмъ это была во всѣхъ отношеніяхъ выдающаяся личность, имѣвшая немалыя заслуги въ исторіи нашего общественнаго развитія. Глубоко и всесторонне образованный, какъ, быть можетъ, никто у насъ въ его время, обладавшій недюжиннымъ критическимъ талантомъ и сильнымъ, проницательнымъ умомъ, онъ написалъ цѣлый рядъ изслѣдованій по различнымъ отраслямъ гуманитарныхъ наукъ; между ними особенное значеніе имѣютъ его литературно-критическія статьи, подъ псевдонимомъ эскъ-студента Недоумко. Онъ первый далъ прочныя теоретическія основанія нашей критикѣ и примѣнилъ на практикѣ эти основанія, позаимствовавъ ихъ изъ философіи Шеллинга, ученіе котораго во многихъ случаяхъ онъ подвергъ самостоятельной разработкѣ. Въ университетѣ Надеждинъ въ своихъ лекціяхъ широкую философскую точку зрѣнія примѣнялъ къ вопросамъ искусства и литературы. Если его критическія статьи и университетскія лекціи не имѣли въ свое время почти никакого значенія для публики, которая вовсе не была подготовлена къ воспріятію его идей, то онѣ оказали огромное вліяніе на развитіе небольшого кружка университетской молодежи, о которомъ у насъ сейчасъ была рѣчь. Къ этому кружку, въ числѣ другихъ лицъ, извѣстныхъ впоследствии подъ именемъ людей сороковыхъ годовъ, принадлежалъ и Бѣлинскій. Вліяніе Надеждина на Бѣлинскаго, начавшееся его статьями въ „Вѣстникѣ Европы“ и „Телескопѣ“, продолжалось университетскими лекціями и закончилось въ личномъ знакомствѣ, по выходѣ Бѣлинскаго изъ университета. Въ положеніяхъ Надеждина Бѣлинскій впервые нашелъ теоретическую основу для своихъ взглядовъ, исходя изъ которой началось прочное и послѣдовательное развитіе его мнѣній.

Итакъ, кружокъ Станкевича и вліяніе Надеждина, а также извѣстнаго критика и журналиста Н. Полевого, довершили литературно-научное развитіе Бѣлинскаго, помогли ему выработать общія философскія положенія для его міровоззрѣнія; и если одно время Бѣлинскій, исходя изъ этихъ положеній, доходилъ до полнаго оправданія окружавшей его жизни, то виною этому были не общіе принципы, усвоенные имъ въ кружкѣ Станкевича,—ибо нѣсколько позднѣе, въ первой половинѣ сороковыхъ годовъ, опираясь на нихъ, онъ пришелъ къ совершенно противоположнымъ выводамъ,—а та необычайная логическая послѣдовательность ума, благодаря которой онъ, принявъ извѣстную мысль, развивалъ ее до послѣднихъ результатовъ, даже до такихъ, гдѣ непосредственное чувство возмущалось противъ теоретическихъ выводовъ. Любопытно, что въ этомъ случаѣ онъ смѣло шелъ одинъ противъ своихъ друзей, рискуя пасть въ глазахъ тѣхъ, чьимъ мнѣніемъ онъ дорожилъ болѣе всего на свѣтѣ. Органически честная натура не позволила ему во имя чего бы то ни было уклоняться отъ тѣхъ положеній, какія въ данное время онъ считалъ справедливыми и истинными.

Къ этому же времени относятся и первые его литературные опыты, если не считать не сохранившихся стихотвореній, написанныхъ еще въ гимназїи въ подражаніе Жуковскому. Будучи студентомъ Московскаго университета, онъ написалъ трагедію: „Дмитрій Калининъ“. Съ точки зрѣнія литературной эта трагедія представляется довольно слабымъ произведеніемъ, но она въ высшей степени цѣнна для характеристики душевнаго настроенія ея автора въ то время. Пьеса имѣетъ цѣлью изобразить деспотизмъ и тиранство помѣщиковъ, съ одной стороны, и угнетенное положеніе крестьянъ, съ другой. Она ясно показываетъ, что Бѣлинскій и въ этотъ періодъ далеко не безразлично относился къ явленіямъ текущей жизни, то преклоненіе предъ всякой дѣйствительностью, какова бы она ни была, которое онъ проповѣдывалъ нѣсколько позднѣе подъ вліяніемъ ошибочнаго пониманія одного изъ положеній Гегеля, вносило въ сущности, страшный разладъ въ его внутренній міръ, заставляя насильно заглушать острое чувство негодованія и протеста противъ темныхъ сторонъ современной жизни.

Какъ кажется, упомянутая трагедія и была главной причиной того, что Бѣлинскому пришлось покинуть университетъ, не окончивъ курса. Очувтившись безъ всякихъ средствъ (въ университетѣ онъ былъ казеннокоштнымъ студентомъ), Бѣлинскій съ трудомъ нашелъ себѣ грошевые уроки и кое-какую литературную работу. Мало по малу опредѣляется его призваніе, и онъ съ 1834-го года до самой смерти дѣлается заправскимъ журнальнымъ работникомъ, завѣдуя, по большей части, самымъ тяжелымъ и неблагодарнымъ отдѣломъ—разборомъ и рецензїей новыхъ книгъ и сочиненій. Одинъ изъ его биографовъ замѣчаетъ, что съ выхода изъ университета Бѣлинскій до конца дней своихъ оставался почти что нищимъ человѣкомъ. Это нѣсколько переувеличенное обобщеніе имѣетъ однако большую долю правды: дѣйствительно, Бѣлинскій никогда не былъ обеспеченъ матеріально, вѣчно работалъ изъ-за насущнаго куска хлѣба, часто принужденный давать въ журналѣ отчетъ о всей печатной белибердѣ, которая появлялась на книжномъ рынкѣ.

Первое время Бѣлинскій сотрудничалъ въ „Молвѣ“ и „Телескопѣ“, московскихъ журналахъ, издаваемыхъ Надеждинымъ. Уже первая его статья: „Литературныя мечтанія“ обратила на него вниманіе читателей. Каждая новая статья все болѣе и болѣе завоевывала ему союзниковъ и все сильнѣе громила отживавшія литературныя традиціи. Между тѣмъ, міровоззрѣніе Бѣлинскаго было далеко не таково, чтобы можно было ожидать отъ него рѣзкихъ нападокъ на существовавшія литературныя и всякія другія явленія. Въ это время, особенно съ 1837-го года вплоть до перѣзда въ Петербургъ, т. е. до начала 40-хъ годовъ, Бѣлинскій со всей страстностью своей натуры проповѣдывалъ полное преклоненіе предъ существующей дѣйствительностью. Говоря въ одномъ изъ писемъ объ этомъ времени, Бѣлинскій писалъ: „Это былъ ужасный періодъ моей жизни, но я теперь понимаю его необходимость... Я страдалъ, потому что принесъ въ жертву моимъ конечнымъ опредѣленіямъ все мои чувства, вѣрованія, надежды, свое самолюбіе, свою личность. Это было нужно: тотъ не любитъ истины, кто не хочетъ для нея заблуждаться и приносить ей въ жертву, какъ Молоху, все, чѣмъ живешь и радуешься“.

Эта насильственная ломка самого себя, конечно, не могла долго продолжаться. Личныя свойства натуры Бѣлинскаго были таковы, что онъ не могъ жить безъ борьбы, не могъ спокойно созерцать совершавшуюся вокругъ него жизнь. Вскорѣ, въ

Сочиненія Бѣлинскаго

началъ 40-хъ годовъ, Бѣлинскій радикально перемѣнилъ свои взгляды на современную русскую дѣйствительность и на значеніе каждой отдѣльной личности. Этому не мало подготовили почву еще въ Москвѣ горячіе споры съ друзьями, а затѣмъ, по переѣздѣ Бѣлинскаго въ концѣ 1839-го года въ качествѣ сотрудника „Отеч. Зап.“ въ Петербургъ, петербургская жизнь, окружившая его новыми условіями, новыми людьми. Въ его письмахъ къ друзьямъ, относящихся къ началу 40-хъ годовъ, есть не мало мѣстъ, свидѣтельствующихъ о томъ, какъ постепенно въ его душѣ происходилъ поворотъ, и выработывалось совершенно новое отношеніе къ жизни. Такъ, въ письмѣ къ Боткину въ концѣ 1841-го года мы находимъ слѣдующее замѣчательное мѣсто: „Горѣ, тяжелое горе, овладѣваетъ мною при видѣ и босоногихъ мальчишекъ, играющихъ на улицѣ въ бабки, и образованныхъ нищихъ, и пьянаго извозчика, и идущаго съ развода солдата, и бѣгущаго съ портфелемъ подъ мышкою чиновника, и довольнаго собою офицера, и гордаго вельможи. Подавши грошъ солдату, я чуть не плачу; подавши грошъ нищей, я бѣгу отъ нея, какъ будто сдѣлавши худое дѣло и какъ будто не желая услышать шелеста собственныхъ шаговъ своихъ. И это жизнь! сидѣть на улицахъ въ лохмотьяхъ, съ идиотскимъ выраженіемъ на лицѣ, насобирать днемъ нѣсколько грошей, а вечеромъ пропить ихъ въ кабакѣ,—и люди это видятъ, и никому до этого нѣтъ дѣла! И это общество, на разумныхъ началахъ существующее, явленіе дѣйствительности“! Этотъ вопль больной души показываетъ, что Бѣлинскій начинаетъ уже совершенно иначе относиться къ текущей жизни и вскорѣ выступить со страстной пропагандой борьбы противъ проповѣдуемой прежде покорности. Этотъ внутренній переворотъ въ убѣжденіяхъ Бѣлинскаго имѣлъ очень важное вліяніе и на общій характеръ его дѣятельности. Исходя изъ убѣжденія, что все дѣйствительное разумно, Бѣлинскій первое время съ негодованіемъ относился къ тѣмъ литературнымъ произведеніямъ, которыя заключали въ себѣ претестъ противъ существующей дѣйствительности. По его взглядамъ въ московскій періодъ жизни, сфера поэтического творчества должна быть совершенно чужда всякихъ отношеній къ жизни, она существуетъ сама для себя и не омрачается „пѣснами земли“. Ей нѣтъ дѣла до людскихъ страданій, она знаетъ только красоту, тщательно охраняя себя отъ всякихъ печальныхъ явленій дѣйствительности. Подъ вліяніемъ такихъ взглядовъ, онъ, на примѣръ, съ презрѣніемъ отзывался о произведеніяхъ французскихъ энциклопедистовъ XVIII-го столѣтія, о критикахъ, не признающихъ теоріи „искусства для искусства“, о Жоржъ-Зандѣ и вообще о всѣхъ тѣхъ писателяхъ, которые стремились къ новой жизни, къ общественному обновленію. Истинными художниками почитались тѣ, кто творилъ „безсознательно“, какъ Гомеръ, Шекспиръ, Гетѣ, тогда какъ Шиллеръ въ это время вызывалъ только негодованіе Бѣлинскаго.

Но вотъ „Питеръ передѣлалъ“ Бѣлинскаго, какъ выражается онъ самъ. Набросавъ въ цитированномъ выше письмѣ неприглядную картину окружавшей его жизни, Бѣлинскій восклицаетъ: „и послѣ этого имѣетъ ли право человекъ забавляться въ искусствѣ, въ знаніи“! Одно изъ двухъ—или прочь искусство, потому что безчестно погружаться въ область красоты, отрѣшаться отъ жизни, когда кругомъ царствуетъ адъ кромѣшный, раздаются стоны страданія, или же, сохранивъ его, нужно крѣпкими узами привязаться къ дѣйствительности, къ борьбѣ за счастье и свободу человѣчества. Само собою разумѣется, что Бѣлинскій выбралъ второе, и уже

съ 1843-го года въ его статьяхъ замѣчается новая, свѣжая струя, проповѣдь искусства для жизни. Духъ нашего времени таковъ,—писаль въ этомъ году Вѣлинскій,— что величайшая творческая сила можетъ изумить только на время, если она ограничивается птичьимъ пѣніемъ, создаетъ себѣ свой міръ, не имѣющій ничего общаго съ философскою и историческою дѣйствительностью современности, если она воображаетъ, что земля недостойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны слушать ея таинственныхъ сновидѣній и поэтическихъ созерцаній. Свобода творчества легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего отечества, своей эпохи, усвоить себѣ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отдѣляетъ убѣжденій отъ дѣла, сочиненій отъ жизни“. Это новая точка зрѣнія настолько была несогласна съ прежними взглядами Вѣлинскаго, что онъ теперь съ отвращеніемъ вспоминаетъ о нѣкоторыхъ своихъ статьяхъ, гдѣ онъ держался чисто эстетическихъ принциповъ. Такъ, на примѣръ, онъ чрезвычайно недоволенъ на себя за статью о „Горе отъ ума“, гдѣ эта комедія была признана ничтожною въ художественномъ отношеніи. Всего тяжелѣе,—пишетъ онъ,—мнѣ вспомнить о „Горе отъ ума“, которое я осудилъ съ художественной точки зрѣнія и о которомъ говорилъ свысока, съ пренебреженіемъ, на догадываясь, что это—благороднѣйшее гуманическое произведеніе, энергическій (и при томъ еще первый) протестъ противъ гнусной россійской дѣйствительности, противъ чиновниковъ-взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ... свѣтскаго общества, противъ невѣжества, добровольго холопства и пр. пр...“. Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Вѣлинскомъ приводитъ яркій примѣръ того, какъ ненавистенъ сталъ теперь Вѣлинскому принципъ чистаго искусства. „Помню.—говоритъ Тургеневъ,—съ какой комической яростью онъ при мнѣ напалъ однажды на Пушкина за его два стиха въ „Поэтъ и чернь“.—Печной горшокъ тебѣ дороже: ты пицу въ немъ себѣ варишь.—И конечно, твердилъ Вѣлинскій, сверкая глазами и бѣгая изъ угла въ уголь,—конечно дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бѣдняка въ немъ пицу варю,—и прежде чѣмъ любоваться красотой истукана,—будь онъ распефидіасовскій Аполлонъ,—мое право, моя обязанность накормить своихъ и себя, на зло всѣмъ негодующимъ баричамъ и виршеплетамъ“. Съ этого пути Вѣлинскій уже до конца дней своихъ не свернетъ никуда въ сторону и, чѣмъ дальше, тѣмъ съ большей силою и убѣдительною будетъ говорить о значеніи искусства для жизни, будетъ громить темныя стороны печальной дѣйствительности. Срочная журнальная работа ради хлѣба насущнаго, возня часто съ ничтожными по своему содержанію книженками, тяжкіе физическіе недуги,—все это не ослабитъ горячности и энергии Вѣлинскаго, и его статьи, вплоть до послѣдней, будутъ исполнены самаго страстнаго воодушевленія и чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе будутъ завоевывать себѣ современныхъ читателей и становиться одной изъ руководящихъ силъ тогдашней жизни. „Каковъ бы я ни былъ, но я борюсь съ дѣйствительностью, вношу въ нее свой идеалъ жизни. Борьба съ дѣйствительностью охватываетъ меня и поглощаетъ все существо мое“,—такъ писалъ Вѣлинскій въ началѣ 40-хъ годовъ, и съ этого времени онъ становится не только литературнымъ критикомъ, но и публицистомъ, затрагивающимъ самые жгучіе, больные вопросы текущей жизни.

Между тѣмъ, чисто внѣшняя обстановка жизни Бѣлинскаго мало измѣнилась. Съ конца 1839-го года онъ началъ работать въ „Отеч. Зап.“ и за весь критическій и библиографическій отдѣлъ журнала получалъ до женитьбы около 1000 руб. сер. (4000 р. ассигн.) въ годъ, плату совершенно нищенскую въ сравненіи съ огромной работой. Возлѣ Бѣлинскаго въ „Отеч. Зап.“ сгруппировались лучшія тогдашнія литературныя силы, и журналъ вскорѣ достигъ рѣдкаго единства направленія и приобрѣлъ большое вліяніе на умственную жизнь общества. Бѣлинскій велъ, между прочимъ, упорную борьбу съ противниками своихъ мнѣній, которые объединились въ въ журналѣ „Москвитининъ“, издаваемомъ подъ редакціей Погодина и Шевырева. Въ концѣ 1843-го года Бѣлинскій женился, а въ 1845-мъ году разошелся съ Краевскимъ и ушелъ изъ „Отеч. Зап.“. Чтобы охарактеризовать положеніе Бѣлинскаго въ редакціи „Отечественныхъ Записокъ“, напомнимъ содержаніе одной карикатуры, помѣщенной въ одномъ „Иллюстрированомъ Альманахѣ“ 40-хъ годовъ. Карикатура представляла худого, изможденнаго Бѣлинскаго, на плечахъ котораго покоится полная фигура Краевскаго. Надъ карикатурой стоитъ надпись: „Карьера ловкаго журналиста“, а внизу подписано: „она составлена, какъ на рисункѣ показано, на чужихъ раменахъ, на раменахъ гениальнаго, но бѣднаго труженика-критика“. Вскорѣ Бѣлинскій сталъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ сотрудниковъ „Современника“, издаваемого Панаевымъ и Некрасовымъ. Но здоровье Бѣлинскаго все ухудшалось. Въ 1846-мъ году друзья устроили ему поѣздку на югъ Россіи, а въ 1847-мъ году за границу, но чахотка не поддавалась лѣченію, и 26 мая 1848-го года великаго русскаго публициста не стало.

Первымъ крупнымъ произведеніемъ Бѣлинскаго, сразу обратившимъ на него вниманіе писателей и публики и создавшимъ ему какъ горячихъ поклонниковъ, такъ и непримиримыхъ враговъ, была его критическая статья: „Литературныя мечтанія, элегія въ прозѣ“, помѣщенная въ „Молвѣ“ 1834-го года. Панаевъ, написавшій любопытныя воспоминанія, охватывающія тридцатые и сороковые годы нашей литературы, такъ изображаетъ впечатлѣніе, произведенное на него „Литературными мечтаніями“: „Новый, смѣлый, свѣжій духъ охватилъ меня. Не оно ли, подумалъ я, это новое слово, котораго я жаждалъ, не это-ли тотъ самый голосъ правды, который я такъ давно хотѣлъ услышать!“ Панаеву нужно было подѣлиться съ кѣмъ-нибудь своимъ восторгомъ, и онъ скорѣе отправился къ Языкову, съ которымъ опять перечиталъ статью. Языковъ пришелъ въ такой же восторгъ, и имя Бѣлинскаго, — говоритъ Панаевъ, — уже стало дорого намъ. Какъ ничтожны и жалки казались мнѣ послѣ этой горячей и смѣлой статьи пошлыя, рутинныя критическія статейки о литературѣ, появившіяся въ московскихъ и петербургскихъ журналахъ“.

Что же представляли собою эти „Литературныя мечтанія“, и въ чемъ заключалась причина ихъ необычайнаго успѣха? Главная мысль статьи достаточно ясно видна уже изъ эпиграфовъ, выставленныхъ въ началѣ ея. Приведемъ второй изъ нихъ, заимствованный изъ статей извѣстнаго въ то время журналиста Сенковскаго (Баронъ Брамбеусъ): „Есть ли у васъ хорошія книги?“—Нѣтъ; но у насъ есть великіе писатели.—„Такъ, по крайней мѣрѣ, у васъ есть словесности?“—Нѣтъ, у насъ только книжная торговля.—Уже по этому эпиграфу можно судить, каково мнѣніе автора статьи о русской литературѣ. Въ этой статьѣ Бѣлинскій излагаетъ

основанія философіи Шеллинга и затѣмъ, опираясь на нее, обозрѣваетъ нашу литературу, начиная съ Кантемира и кончая Пушкинымъ. Задача поэзіи состоитъ въ воспроизведеніи идеи всеобщей жизни природы, единой и вѣчной проявляющейся въ безконечномъ разнообразіи явленій физическаго и нравственнаго міра. Но это воспроизведеніе должно быть свободно и произвольно. Пока поэтъ слѣдуетъ безотчетно мгновенной вспышкѣ своего воображенія, онъ правственъ, онъ поэтъ, но лишь только онъ задалъ себѣ тему, поставилъ опредѣленную цѣль—онъ обращается въ моралиста, философа и теряетъ свою чародѣйственную власть надъ сердцами читателей. Итакъ, по мнѣнію Вѣлинскаго, въ этотъ періодъ его критической дѣятельности, поэтическое творчество должно быть безсознательнымъ: тѣмъ не менѣе, въ произведеніяхъ поэта таинственнымъ образомъ будетъ воплощаться идея всеобщей мировой жизни. Эта идея, выражаемая поэтомъ, есть та самая, представителемъ которой служить родной народъ поэта, такъ какъ, въ силу непреложнаго закона Провидѣнія, каждому народу дано своею жизнью выражать какую-нибудь сторону бытія цѣлаго человѣчества. Съ этой точки зрѣнія Вѣлинскій и рассматриваетъ весь ходъ нашей литературы съ Кантемира и до своего времени, стараясь опредѣлить, насколько каждый изъ писателей подходилъ подъ такой взглядъ. Онъ приходитъ къ выводу, что въ ней было только четыре настоящихъ поэта—Державинъ, Крыловъ, Грибоѣдовъ и Пушкинъ. „У насъ было много талантовъ и талантиковъ, но мало, слишкомъ мало художниковъ по призванію, то есть такихъ людей, для которыхъ писать и жить, жить и писать—одно и тоже, которые уничтожаются внѣ искусства, которымъ не нужно протекцій, не нужно меценатовъ, или, лучше сказать, которые гибнутъ отъ меценатовъ, которыхъ не убиваютъ ни деньги, ни отличія, ни несправедливости, которые до послѣдняго вздоха остаются вѣрными своему святому призванію... У насъ была эпоха схоластицизма, была эпоха плаксивости, была эпоха стихотворства, эпоха романовъ и повѣстей..., но не было эпохи искусства, эпохи литературы“. Но статья не даромъ называлась „литературными мечтаніями“. Авторъ съ крѣпкой надеждой говоритъ о томъ, что въ русской литературѣ появляются добрые признаки, назрѣваютъ новыя свойства. Рассматривая литературныя произведенія, онъ въ тоже время обращаетъ вниманіе и на вновь нарождающіяся явленія русской жизни, которыя поддерживаютъ его вѣру въ лучшее будущее русской литературы. „У насъ нѣтъ литературы: я повторяю это съ восторгомъ, съ наслажденіемъ, ибо въ этой истинѣ вижу залогъ нашихъ будущихъ успѣховъ. Присмотритесь къ ходу нашего общества, и вы согласитесь, что я правъ. Посмотрите, какъ новое поколѣніе, разочаровавшись въ гениальности и безсмертіи нашихъ литературныхъ произведеній, съ жадностью предается изученію наукъ и черпаетъ живую воду просвѣщенія въ самомъ источникѣ. Придетъ время—просвѣщеніе разольется въ Россіи широкимъ потокомъ, умственная физиономія народа выяснится, и тогда наши художники и писатели на всѣ свои произведенія будутъ налагать печать русскаго духа. Но теперь намъ нужно ученье! ученье! ученье!“...

Основная мысль „Литературныхъ мечтаній“ не является чѣмъ-нибудь новымъ для того времени: тоже самое говорили въ это время въ своихъ статьяхъ Полевой и особенно Надеждинъ, и Вѣлинскій, начиная свою критическую дѣятельность, въ первыхъ статьяхъ является, такъ сказать, ученикомъ и продолжателемъ Надеждина, развивая далѣе тѣ идеи, которыя были высказаны этимъ критикомъ, порою въ го-

раздо болѣе рѣзкой формѣ, чѣмъ та, какую мы находимъ въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ Бѣлинскаго. Но мнѣнія Надеждина, какъ мы имѣли случай замѣтить, оказались не по плечу тогдашнему русскому читателю и оставались въ тѣни, не будучи вовсе распространены въ публикѣ. Въ пользовавшихся популярностью журналахъ и книгахъ, затрагивавшихъ вопросы русской словесности, разточались только нелѣпыя похвалы и безотчетные восторги по адресу того или другого изъ старыхъ писателей. Статьи Надеждина, среди этихъ неосновательныхъ панегириковъ, были въ полномъ смыслѣ слова гласомъ вопіющаго въ пустынь. Но вотъ прошло нѣсколько лѣтъ. И старому, и особенно молодому поколѣнію читателей, выросшему подъ вліяніемъ новыхъ литературныхъ идей, все болѣе надоѣдали однообразныя статьи хвалебнаго тона о русскихъ писателяхъ. Эти молодые читатели, въ большей или меньшей степени уже знакомые съ идеями современной нѣмецкой эстетики, не могли не возмущаться господствовавшими у насъ понятіями объ искусствѣ и съ нетерпѣніемъ ждали „новаго слова“, не подозревая того, что оно уже давно сказано и хранится на страницахъ статей Надеждина. Понятно поэтому, что горячо написанная статья Бѣлинскаго, шедшая въ разрѣзъ съ общимъ поклоненіемъ мнимымъ литературнымъ авторитетамъ и смѣло рѣшившаяся, вопреки установившемуся мнѣнію, отрицать у насъ даже существованіе литературы въ полномъ смыслѣ этого слова, должна была привести въ неподдѣльный восторгъ недовольныхъ господствовавшимъ теченіемъ критики и, съ другой стороны, вызвать негодованіе и озлобленіе литературныхъ старовѣровъ. Значеніе „Литературныхъ мечтаній“ Бѣлинскаго заключается не въ томъ, что онъ въ этой статьѣ первый рѣшился сказать смѣлое слово противъ ложныхъ литературныхъ авторитетовъ, какъ это думаютъ нѣкоторые, — новаго тутъ, пожалуй, еще ничего не было; но важно, что молодой критикъ сразу началъ съ того, на чемъ остановился одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ и непонятыхъ его предшественниковъ, что онъ, благодаря тонкому чутью и широкому литературному образованію, сумѣлъ выступить смѣлымъ борцомъ противъ отжившихъ, хотя все еще господствовавшихъ литературныхъ понятій.

Эта статья является достойной увертюрой дальнѣйшей дѣятельности Бѣлинскаго, такъ какъ намѣчаетъ важнѣйшія свойства его критики. Въ ней уничтожаются старые литературные кумиры, оцѣнка художественной стороны литературы ставится въ связь съ задачами искусства и условіями творчества автора, литература разсматривается, какъ выраженіе общественной жизни, вслѣдствіе чего и критика принимаетъ публицистическій характеръ; наконецъ, въ похвалахъ Пушкину выражается сочувствіе реализму. Въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ Бѣлинскій, какъ сказано, выступилъ смѣлымъ бойцомъ, противъ отжившихъ, хотя еще господствовавшихъ литературныхъ понятій и авторитетовъ и нанесъ имъ рѣшительный ударъ. Вызванные имъ толки и споры способствовали тому, что многія свѣтила псевдоклассицизма и романтизма были свержены со своего пьедестала и вскорѣ, подъ вліяніемъ дальнѣйшихъ статей Бѣлинскаго, и совсѣмъ забыты.

То же настроеніе мы замѣчаемъ и въ другой статьѣ Бѣлинскаго, написанной черезъ полтора года послѣ „Литературныхъ мечтаній“ и помѣщенной въ первыхъ номерахъ надеждинскаго „Телескопа“ за 1836-й годъ. Отзываясь неодобительно о критикѣ предшествовавшей эпохи, онъ говоритъ: „Критиковать тогда значило хвалить, восхващаться, дѣлать возгласы и, много много, если указывать на нѣкоторые неудач-

ные стишки въ цѣломъ сочиненіи или на нѣкоторыя слабыя мѣста, съ совѣтомъ поэту, какъ ихъ починить. Понятія о творчествѣ тогда были готовыя, взятыя на прокатъ у французовъ; критики не было, потому что критика болѣе или менѣе сестра сомнѣнію, а тогда царствовало полное убѣжденіе въ богатствѣ нашей литературы какъ по количеству, такъ и по качеству“. Коснувшись вскользь Державина, онъ въ нѣсколькихъ строкахъ развѣнчиваетъ его хвалебныя оды, служившія еще и въ то время предметомъ самаго восторженнаго поклоненія. Возьмите его торжественныя оды,—пишетъ Бѣлинскій,—что это такое? Посмотрите, какъ онъ въ нихъ никогда не могъ поддержать до конца своего напряженнаго восторга, какъ онъ въ концѣ каждой изъ нихъ падалъ и, начавши высоко и громко, оканчивалъ ровно ничѣмъ. И кто станетъ читать теперь торжественныя оды?“ Такъ смѣло, энергично шельмъ Бѣлинскій противъ установившихся литературныхъ мнѣній, нисколько не задумываясь произнести свое строгое сужденіе, разъ признавалъ его справедливымъ.

Между тѣмъ „Литературныя мечтанія“ стали сбываться. Въ лицѣ Пушкина, Гоголя и Кольцова свѣтлой звѣздой засіяло новое направленіе; русская литература выходитъ на самостоятельную дорогу, становится яркой картиной современной жизни, выраженіемъ нарождающагося общественнаго самосознанія. Трудно представить себѣ тотъ восторгъ, съ какимъ были встрѣчены Бѣлинскимъ первыя произведенія Гоголя и Кольцова. Несмотря на то, что Кольцовъ издалъ только небольшой сборникъ стихотвореній съ 18-ю пьесами, а Гоголь,—только „Вечера на хуторѣ“, „Миргородъ“ и „Арабески“, Бѣлинскій сразу оцѣнилъ ихъ значеніе и не усумнился назвать Гоголя „главою нашей литературы“. Мало по маду измѣняются нѣсколько взгляды Бѣлинскаго и на русскую литературу до Пушкина, которую онъ такъ безпощадно осудилъ въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“. Попрежнему признавая ничтожество ея въ художественномъ отношеніи, онъ уже замѣчаетъ историческую связь отдѣльных ея явленій, пытается отмѣтить постепенный ростъ ея развитія, отъ Ломоносова до его времени. Въ позднѣйшихъ своихъ статьяхъ, выясняя смыслъ и значеніе произведеній современныхъ ему русскихъ писателей, Бѣлинскій неоднократно, по различнымъ поводамъ, касался и литературныхъ явленій прошлаго. Особенно подробно и многосторонне останавливался онъ на русской литературѣ XVIII-го вѣка. Эти экскурсіи въ исторію отечественной литературы отъ Ломоносова до Пушкина имѣютъ весьма важное значеніе. Въ нихъ Бѣлинскій первый указалъ постепенную преемственность и историческую связь отдѣльных литературныхъ явленій и далъ надлежащую историко-литературную оцѣнку различныхъ писателей, и направленій, выяснивши значеніе каждаго изъ нихъ въ общемъ развитіи русской словесности. Этимъ онъ создалъ у насъ исторію литературы, положивъ начало разработкѣ самаго сложнаго и интереснаго ея періода—отъ Ломоносова до своего времени. Эта заслуга Бѣлинскаго тѣмъ болѣе должна быть высоко поставлена, что передъ собой онъ имѣлъ только односторонніе и фальшивые опыты въ этой области ложноклассическихъ и романтическихъ критиковъ. Несмотря на это, благодаря тонкому литературному вкусу и обширной начитанности, онъ сразу сумѣлъ прийти настолько къ правильнымъ выводамъ, что позднѣйшимъ изслѣдователямъ, по большей части, приходится только подтверждать высказанныя имъ сужденія. Въ концѣ жизни Бѣлинскій принялся было за систематическую исторію русской литературы, въ которой хотѣлъ сгруппировать въ одно цѣлое свои мнѣнія по различнымъ литературнымъ во-

просамъ. Къ сожалѣнію, ему не удалось закончить этого труда, который, несомнѣнно, былъ бы однимъ изъ самыхъ цѣнныхъ вкладовъ въ разработку русской словесности. Онъ успѣлъ только написать нѣсколько отдѣльныхъ статей: „Идея искусства“, „Общее значеніе слова «литература»“, „Раздѣленіе поэзіи на роды и виды“, очевидно, предназначавшихся для задуманнаго сочиненія.

Итакъ, мы отмѣтили одну, пожалуй, самую крупную историко-литературную заслугу Бѣлинскаго: онъ первый далъ намъ исторію русской литературы (начиная съ XVIII-го в.) и притомъ въ такомъ видѣ, что его выводы сохраняютъ свою силу и до настоящаго времени, несмотря на то, что, въ сущности говоря, только послѣ него началась научная разработка этого предмета.

Но обзоръ и выясненіе литературныхъ явленій прошлаго были второстепеннымъ дѣломъ Бѣлинскаго; онъ былъ не историкъ литературы, а критикъ, желавшій и обязанный, какъ сотрудникъ того или другого журнала, останавливаться, главнымъ образомъ, на произведеніяхъ своихъ современниковъ, подвергать ихъ критической оцѣнкѣ и выяснять для читателей ихъ литературное значеніе. Критическая дѣятельность Бѣлинскаго совпала съ замѣчательнымъ періодомъ нашей литературы, когда она, наконецъ, послѣ долгихъ блужданій, попала на настоящую дорогу и стала національной и самобытной. Извѣстно, что этому быстрому росту нашей словесности способствовали такіе авторы, какъ Пушкинъ, Гоголь, Кольцовъ и Лермонтовъ. Ихъ произведенія, являвшіяся своего рода откровеніемъ и вѣрнымъ залогомъ славнаго будущаго для однихъ, для другихъ, литературныхъ старовѣровъ, были предметомъ негодованія и самаго непристойнаго глумленія. Публика имѣла еще слишкомъ мало литературнаго вкуса для того, чтобы рѣшить, на чьей сторонѣ правда. Часто дешевое остроуміе литераторовъ въ родѣ Сенковского имѣло гораздо болѣе успѣха, чѣмъ талантливо написанная статья серьезнаго критика. Для того, чтобы не только въ публикѣ, но и въ литературныхъ кругахъ новое направленіе одержало верхъ, нуженъ былъ могучій защитникъ его, обладавшій недюжиннымъ талантомъ, обширными свѣдѣніями и горячей любовью къ отстаиваемому дѣлу. Мы уже знаемъ, что всѣми этими качествами въ совершенствѣ обладалъ Бѣлинскій, и онъ съ увлеченіемъ принялся толковать публикѣ все значеніе новыхъ литературныхъ явленій. Побѣда была полная, да и трудно было устоять противъ этого отважнаго бойца, вооруженнаго тонкимъ критическимъ чутьемъ, обширными и разнообразными свѣдѣніями, даромъ блестяще и увлекательно излагать свои мысли и упорно, въ теченіе болѣе чѣмъ 10 лѣтъ, защищавшаго первые шаги реализма въ русской литературѣ. Никому другому, какъ Бѣлинскому, принадлежитъ заслуга правильнаго истолкованія произведеній Пушкина, Кольцова, Гоголя и Лермонтова.

Его статьи объ этихъ писателяхъ сохраняютъ свое значеніе и въ настоящее время; даже теперь, когда прошло болѣе полустолѣтія со времени ихъ появленія, немного найдется книгъ, могущихъ вполне ихъ замѣнить. Современный читатель найдетъ въ нихъ одну изъ самыхъ живыхъ и мѣткихъ характеристикъ упомянутыхъ писателей, самый подробный и, въ большинствѣ случаевъ, вѣрный эстетическій разборъ ихъ произведеній на ряду съ популярно изложенными общими принципами искусства и поэзіи. Между статьями Бѣлинскаго, посвященными разбору произведеній Пушкина, Гоголя, Кольцова и Лермонтова, особенно обращаютъ на себя вниманіе статьи о Пушкинѣ, написанныя въ періодъ времени съ 1843-го года

по 1846-й годъ. Эти статьи впервые растолковали русскому читателю все значеніе поэтическихъ созданій Пушкина и тѣмъ самымъ дали послѣднему то мѣсто въ исторіи русской словесности, какое онъ занимаетъ тамъ по справедливости и въ настоящее время. Статьи Бѣлинскаго о Пушкинѣ и теперь, не смотря на болѣе или менѣе значительныя поправки къ нимъ позднѣйшихъ изслѣдователей, являются главнымъ матеріаломъ, къ которому долженъ обращаться всякій, кто хочетъ обстоятельно ознакомиться съ произведеніями этого поэта и уяснить себѣ ихъ художественное, историческое и общечеловѣческое значеніе.

Такимъ образомъ, Бѣлинскій не мало способствовалъ водворенію у насъ въ литературѣ, такъ называемой въ то время, натуральной школы, основателемъ которой былъ Пушкинъ и Гоголь. Если эти послѣдніе показали, какъ надо писать, чтобы литературное произведеніе было вполне художественнымъ, народнымъ и имѣло тѣсную связь съ дѣйствительностью, то Бѣлинскій блестяще доказалъ право существованія натуральной школы и, оберегая ее отъ зрыхъ нападеній приверженцевъ другихъ литературныхъ направленій, способствовалъ ея росту и развитію, уясняя значеніе ея какъ читающей публикѣ, такъ и самимъ писателямъ.

Жизнь и дѣятельность Бѣлинскаго, особенно въ послѣдніе годы, совпала съ первыми шагами на литературномъ поприщѣ такъ называемыхъ писателей сороковыхъ годовъ, — Достоевскаго, Тургенева, Гончарова и нѣкоторыхъ другихъ. Эти имена очень хорошо извѣстны не только русскому, но и западно-европейскому читателю: съ ними неразрывно связано представленіе о могучемъ ростѣ нашей литературы, когда она стала вызывать удивленіе и подраженіе въ Западной Европѣ. Любопытно отмѣтить, какъ отнесся Бѣлинскій къ этимъ молодымъ еще тогда талантамъ, только что выступившимъ въ печати и подчасъ не рѣшавшимся даже открыть своихъ именъ. Необыкновенное критическое чутье не измѣнило и тутъ Бѣлинскому. Въ первыхъ, иногда въ довольно слабыхъ произведеніяхъ молодыхъ, еще ничѣмъ не заявившихъ себя авторовъ, онъ все же подмѣчалъ печать истиннаго дарованія и, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, горячо привѣтствовалъ литературныя новинки. Упомянутые писатели сохранили самыя свѣтлыя воспоминанія о нашемъ знаменитомъ критикѣ, и это будетъ вполне понятно, если принять въ соображеніе, какое значеніе имѣли для современниковъ его статьи, не утратившія своей цѣны и пользы вѣка спустя. Нѣкоторые изъ нихъ оставили свои воспоминанія, съ той или другой стороны характеризующія личность и взгляды Бѣлинскаго. Очень любопытенъ въ этомъ отношеніи случай, рассказанный Достоевскимъ въ его „Дневникѣ писателя“, о томъ, какъ принялъ Бѣлинскій его первый литературный опытъ — „Бѣдные люди“. Романъ былъ доставленъ Бѣлинскому Некрасовымъ и Григоровичемъ въ рукописи. Когда Бѣлинскій прочелъ его, онъ загорѣлся желаніемъ видѣть автора, чтобы высказать ему весь охватившій его восторгъ. Лишь только Достоевскій пришелъ къ нему, и зашла рѣчь о „Бѣдныхъ людяхъ“, Бѣлинскій заговорилъ пламенно и съ горящими глазами: „Да вы понимаете ли сами-то, что это вы такое написали? Вы только непосредственнымъ чутьемъ, какъ художникъ, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы намъ указали?... Вамъ правда открыта и возвѣщена, какъ художнику, досталась, какъ даръ, цѣните же вашъ даръ и оставайтесь вѣрнымъ ему и будете великимъ писателемъ“!

Когда „Бѣдные люди“ появились въ „Петербургскомъ сборникѣ“ Некрасова, Бѣлинскій написалъ о нихъ блестящую статью, изъ которой видно, что онъ сразу понялъ особенность таланта Достоевскаго. По его мнѣнью, талантъ Достоевскаго не сатирическій, не описательный, но въ высшей степени творческій, поражающій глубокимъ знаніемъ человѣческаго сердца; самая широкая гуманность въ связи съ „патетическимъ элементомъ“ представляетъ особенную черту въ характерѣ его творчества. Тогда же Бѣлинскій далъ предсказаніе, столь оправдавшееся впоследствии, относительно того, что произведенія Достоевскаго не будутъ оцѣнены сразу читателями. „Его талантъ принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которые постигаются и признаются не вдругъ. Много, въ продолженіи его поприща, явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ своей славы“. Но когда нѣкоторыя изъ послѣдующихъ произведеній Достоевскаго, въ силу различныхъ обстоятельствъ, оказались слабѣе „Бѣдныхъ людей“, Бѣлинскій не преминулъ отмѣтить ихъ недостатки. Такъ, относительно „Двойника“ онъ замѣчаетъ, что въ этой повѣсти авторъ обнаружилъ огромную силу творчества и художественнаго мастерства, но что вмѣстѣ съ тѣмъ тутъ видно страшное неумѣніе владѣть и распорядиться экономически избыткомъ собственныхъ силъ, нѣтъ, такъ сказать, эстетической мѣры. По его мнѣнью, повѣсть смѣло можно укоротить на одну треть, и тогда она будетъ имѣть успѣхъ. Когда была напечатана „Хозяйка“ Достоевскаго, одно изъ самыхъ слабыхъ его произведеній, Бѣлинскій прямо заявилъ, что „во всей этой повѣсти нѣтъ ни одного простого и живого слова или выраженія; все изыскано, натянуто, на ходуляхъ, поддѣльно и фальшиво“. Кто помнитъ названныя сейчасъ сочиненія Достоевскаго, тотъ пойметъ, какъ справедливы были сужденія о нихъ Бѣлинскаго, который, признавая талантъ какого-либо писателя и вознося его на высокой pedestal, умѣлъ въ тоже время замѣтить и его отрицательныя стороны.

Столь же справедливы отзывы Бѣлинскаго о первыхъ произведеніяхъ Тургенева и Гончарова. Съ большою симпатіей слѣдитъ онъ за первыми шагами на литературномъ поприщѣ Тургенева, котораго онъ уже замѣтилъ и привѣтствовалъ со времени появленія въ печати его перваго произведенія (въ стихахъ)—„Параша“. Отзываясь съ похвалой о его „Хорѣ и Калинычѣ“, онъ даетъ удивительно вѣрную характеристику таланта автора разсказа, подтвержденную впоследствии самимъ Тургеневымъ: „Главная характеристическая черта его таланта,—по словамъ Бѣлинскаго,—заключается въ томъ, что ему едва ли удалось бы создать вѣрно такой характеръ, подобнаго которому онъ не встрѣтилъ въ дѣйствительности“. По словамъ Тургенева, особенность его таланта состоитъ въ умѣнii „пронаблюдать явленіе жизни и затѣмъ уже это дѣйствительное явленіе представить въ художественныхъ образахъ“.

Невольно поражаешься художественной прозорливости нашего знаменитаго критика, умѣвшаго по самымъ незначительнымъ чертамъ отгадывать сущность таланта разбираемаго автора, часто неясную ему самому, и направить молодого, неопытнаго писателя на присущую его дарованію дорогу. Итакъ, значеніе Бѣлинскаго состоитъ, между прочимъ, и въ томъ, что онъ воспиталъ на своихъ статьяхъ писателей сороковыхъ годовъ и своими отзывами о первыхъ ихъ произведеніяхъ указалъ надлежащій путь ихъ талантамъ, идя по которому они достигли апогея своего величія.

Какъ въ первыхъ статьяхъ Бѣлинскаго, такъ и въ послѣдующихъ встрѣчается цѣлый рядъ отступленій отъ избранной темы, посвященныхъ выясненію различныхъ теоретическихъ вопросовъ, относящихся къ литературѣ. Таковы многочисленныя отступленія о томъ, что такое поэзія, литература, каково должно быть поэтическое творчество и т. д. Въ теченіе недолгой литературной дѣятельности—всего какихъ нибудь 14 лѣтъ—онъ неоднократно обращался къ выясненію этихъ вопросовъ, обсуждая ихъ, смотря по надобности, съ той или другой точки зрѣнія. Это подало поводъ думать о Бѣлинскомъ, что многія его статьи не дають ничего новаго, кромѣ повторенія высказанныхъ раньше положеній, что онъ, въ концѣ концовъ, исписался. Чтобы оцѣнить по достоинству это мнѣніе, стоитъ только припомнить, въ какомъ положеніи находилась тогда наша общественная мысль относительно самыхъ элементарныхъ литературныхъ понятій. Говоря коротко, ихъ совсѣмъ не было въ читающей публикѣ. Бѣлинскому, исходившему въ своихъ критическихъ сужденіяхъ изъ опредѣленныхъ философскихъ положеній, необходимо было уяснить читателямъ свои теоретическія взгляды, касавшіяся основныхъ вопросовъ искусства. Извѣстно, какъ медленно проникаетъ какая-либо новая идея въ толпу. Только настойчивое и энергичное обоснованіе ея всѣми возможными доводами, въ концѣ концовъ, побуждаетъ врожденную косность массы, но еще проходить не мало времени, пока она восприметъ цѣликомъ предлагаемое ей вниманію положеніе. Вотъ потому-то кажущіяся слишкомъ отвлеченными и скучными для современнаго намъ читателя постоянныя отступленія въ статьяхъ Бѣлинскаго были въ высшей степени полезны для русскаго читателя тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Эти отступленія, ставшія для большинства изъ насъ всѣмъ извѣстными азбучными истинами, о которыхъ теперь никто не спорить, были совершенно новымъ открытіемъ для тогдашнихъ писателей, и нуженъ былъ талантъ и настойчивость Бѣлинскаго, чтобы твердо укоренить ихъ въ сознаніи современнаго читателя. Высказанныя въ послѣдній періодъ его дѣятельности положенія касательно того, что называется художественнымъ произведеніемъ, и въ чемъ заключаются его отличительныя черты, какъ происходитъ процессъ поэтического творчества, что такое литература во всѣхъ ея разнообразныхъ видахъ и т. д., мало чѣмъ отличаются отъ установившихся у насъ на этотъ счетъ общераспространенныхъ литературныхъ мнѣній. Они вошли, такъ сказать, въ плоть и кровь нашу и безъ всякаго труда и усилія усваиваются еще на школьной скамьѣ, лишь только проснувшаяся мысль пытается взяться за рѣшеніе отвлеченныхъ литературныхъ вопросовъ. Никому въ голову не приходитъ, какихъ усилій стоило одному изъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ литературныхъ дѣятелей провести ихъ поль-вѣка тому назадъ въ сознаніе русскаго общества. Чтобы не быть голословными, приведемъ одинъ-два первыхъ попавшихся подъ руку примѣра. Пишетъ, положимъ, Бѣлинскій обзоръ русскаго общества въ 1840-мъ году. Только въ концѣ его, не болѣе пяти страницъ удѣлено краткому обзору выдающихся явленій литературы, остальные же (болѣе 30-ти) заняты разсужденіями о томъ, что такое словесность, литература, публика, критика и т. п. „Литература, по его опредѣленію, есть сознаніе народа: въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражаются его духъ и жизнь: въ ней, какъ въ фактѣ, видно назначеніе народа, мѣсто, занимаемое имъ въ великомъ семействѣ человѣческаго рода... Источникомъ литературы можетъ быть не какое-нибудь ви́шнее побуж-

деніе или ви́шній толчекъ, но только міросозерцаніе народа“. Это опредѣленіе литературы, впервые данное у насъ Вѣлинскимъ, сохранилось и до сего времени и тѣмъ самымъ доказало свою истинность. Столь же общеприняты у насъ теперь и другія теоретическія положенія Вѣлинскаго, для выясненія которыхъ онъ порою дѣлалъ отступленія на нѣсколько десятковъ страницъ. Слѣдовательно, существенная заслуга статей Вѣлинскаго состоитъ, между прочимъ, и въ томъ, что въ нихъ читатели нашли теоретическую основу для здравыхъ сужденій о литературѣ, исходную точку зрѣнія, опираясь на которую, они могли по достоинству оцѣнить безсодержательную болтовню другихъ критиковъ.

Создавая русскую критику вообще, Вѣлинскій въ послѣдній періодъ своей дѣятельности въ то же время является основателемъ новаго теченія русской критики, которому суждено было сыграть огромную роль въ исторіи русскаго общественнаго развитія въ приснопамятные шестидесятые годы. Послѣ долгихъ блужданій въ началѣ 40-хъ годовъ Вѣлинскій приходитъ къ убѣжденію, что литература должна быть могучимъ орудіемъ борьбы за счастье и свободу человѣчества, однимъ изъ средствъ общественнаго развитія и прогресса. Подъ влияніемъ этого взгляда въ статьяхъ его все чаще и чаще встрѣчаются отступленія по поводу различныхъ жгучихъ вопросовъ современной жизни. Таковы его мысли о воспитаніи, взгляды на русскую женщину, на ея роль и участіе въ общественной жизни, ироническій отзывъ о „висейныхъ барышняхъ“, проповѣдь нравственной свободы личности, негодованіе на крѣпостное право и мн. др. Эти статьи читались съ захватывающимъ интересомъ, потому что въ нихъ все болѣе и болѣе затрагивались самые жгучіе, больные вопросы современной жизни. Разбираемое сочиненіе, какъ говоритъ одинъ современникъ, служило Вѣлинскому, по большей части, матеріальной точкой отсчета, на поль-дорогѣ онъ бросалъ ее и впадалъ въ какой-нибудь вопросъ современной жизни. Послѣдующая критика 60-хъ годовъ не даромъ ставила себя въ нравственную связь съ Вѣлинскимъ: въ его статьяхъ мы впервые видимъ зародышъ такъ называемой публицистической критики, которая очень мало занимается эстетической стороною произведенія и очень много—общественными выводами, изъ его вытекающими. Можно различнымъ образомъ относиться къ подобнаго рода критикѣ, но нельзя отрицать того, что въ свое время она сыграла выдающуюся роль въ исторіи нашего умственнаго развитія. Во всякомъ случаѣ, за этой критикой остается всегда одно неоспоримое достоинство: она наиболѣе способна пробуждать самостоятельную мысль читателя, и именно таково было значеніе многихъ статей Вѣлинскаго, написанныхъ въ послѣдніе шесть-семь лѣтъ его дѣятельности. Въ нихъ Вѣлинскій является не только литературнымъ критикомъ, но и смѣлымъ, страстнымъ публицистомъ, вождемъ общества во многихъ текущихъ вопросахъ жизни. И читатели понимали и цѣнили это. „Статьи Вѣлинскаго,— рассказываетъ современникъ,— судоржно ожидалась молодежью въ Москвѣ и Петербургѣ съ 25-го числа каждаго мѣсяца. Пять разъ хаживали студенты въ кофейни спрашивать, получены-ли „Отеч. Зап.“, тяжелый номеръ рвали изъ рукъ въ руки.—„Есть Вѣлинскаго статья?“—„Есть“, и она поглощалась съ лихорадочнымъ сочувствіемъ, со смѣхомъ, со спорами... и трехъ-четырехъ вѣрованій, уваженій какъ не бывало“...

И. С. Аксаковъ, противникъ Вѣлинскаго по своимъ общественнымъ и полити-

чскимъ взглядамъ, въ 1846-мъ году такъ писалъ своему отцу о необычайной популярности Бѣлинскаго: „Много я ѣздилъ по Россіи; ими Бѣлинскаго извѣстно каждому сколько-нибудь мыслящему юношѣ, всякому жаждущему свѣжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Мы обязаны Бѣлинскому счастьемъ, говорили мнѣ вездѣ молодые честные люди въ провинціи. Если вамъ нужно честнаго человѣка, способнаго сострадать болѣзнямъ и несчастьямъ угнетенныхъ, честнаго доктора, честнаго слѣдователя, который полѣзъ бы на борьбу, ищите таковыхъ между послѣдователями Бѣлинскаго“.

Въ этой неустанной работѣ надъ пробиваніемъ толстой коры общественнаго индифферентизма, въ постоянномъ призываніи общества къ прогрессивному развитію, къ активной общественной жизни, въ указаніи язвъ и болячекъ соціальной и семейной жизни, въ проповѣди свѣтлаго идеала и состоитъ одна изъ главнѣйшихъ заслугъ Бѣлинскаго, какъ вождя и руководителя общества.

Какое значеніе имѣла для современниковъ сейчасъ отмѣченная сторона Бѣлинскаго, это очень хорошо охарактеризовано Некрасовымъ въ немногихъ почувствованныхъ стихахъ:

Въ тѣ дни, какъ все коснѣло на Руси,
Дремля и раболѣпствуя позорно,
Твой умъ кипѣлъ и новыя стези
Прокладывалъ, работая упорно.
Ты не гнушался никакимъ трудомъ:
„Чернорабочій я—не бѣлоручка!“
Говаривалъ ты намъ и напроломъ
Шель къ истинѣ, великой самоучка:
Ты насъ гуманно мыслить научилъ,
Едва-ль не первый вспомнилъ о народѣ,
Едва-ль не первый ты заговорилъ
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ...
Не думалъ ты, что стоишь ты вѣнца,
И разумъ твой горѣлъ не угасая,
Самимъ собой и жизнью до конца
Святое недовольство сохраняя,—
То недовольство, при которомъ нѣтъ
Ни самообольщенья, ни застоя.
Молясь твоей многострадальной тѣни,
Учитель, передъ именемъ твоимъ
Позволь смиренно преклонить колѣни.

Прошло болѣе пятидесяти лѣтъ, какъ скончался этотъ великій учитель русскаго общества. Поль-вѣка—срокъ долгій, но онъ не состарилъ Бѣлинскаго. Многое, очень многое изъ сказаннаго имъ сохраняетъ все свое значеніе и для нашего времени, на многихъ его статьяхъ еще долго будетъ учиться мыслить и чувствовать русское общество.



И. С. Тургеневъ.



И. С. Тургеневъ

~~12~~
12/18 = 1800

12/18 = 1800

исторія многихъ его произведеній показываеь, что въ основѣ ихъ обыкновенно лежить какой-либо житейскій случай, въ томъ или другомъ видѣ извѣстный писателю, а въ дѣйствующихъ лицахъ можно отыскать нѣкоторыя черты, присущія знакомымъ автору людямъ. Эти люди и отдѣльные факты служили ему исходной точкой для творческаго возсозданія современной дѣйствительности. Неудивительно поэтому, что, пребывая долгое время за границей, онъ порою ничего не писалъ. Онъ самъ указалъ причину этого явленія въ одномъ изъ писемъ, объясняя его особенностями своего дарованія: „Талантъ, отпущенный мнѣ природой, не умалился, но мнѣ нечего съ нимъ дѣлать. Голосъ остался, да пѣть нечего. А пѣть нечего потому, что я живу внѣ Россіи“. Понятно также, почему онъ въ своемъ советѣ молодымъ писателямъ говорить о томъ, что нужно постоянное общеніе со средой, которую берешься воспроизводить.

Другая черта таланта Тургенева, вытекающая изъ способности художественно-правдиво изображать дѣйствительность, есть объективность, понимаемая здѣсь, съ одной стороны, какъ способность создавать типы, характеры и т. д., болѣе или менѣе противоположные личности художника, и съ другой—какъ умѣніе воздержаться отъ произнесенія надъ ними въ томъ или другомъ видѣ своего авторскаго суда. Благодаря этой особенности своего дарованія, Тургеневу удалось дать единственное въ своемъ родѣ по безпристрастію изображеніе разнообразныхъ типовъ пережитыхъ имъ эпохъ въ развитіи русскаго общества.

Чрезвычайно цѣннымъ, затѣмъ, свойствомъ поэтическаго таланта Тургенева является его необыкновенно тонко развитая способность наблюденій, удивительная чуткость ко всѣмъ измѣненіямъ общественной жизни, умѣніе уловить и воспроизвести въ художественномъ образѣ едва только народившіеся типы и настроенія. За эту въ высшей степени цѣнную черту его таланта онъ получилъ въ русской критикѣ эпитетъ „ловца момента“. Эпитетъ этотъ какъ нельзя болѣе подходитъ къ Тургеневу. Стоя на стражѣ нашихъ общественныхъ движеній въ теченіе болѣе чѣмъ сорока лѣтъ, въ продолженіе которыхъ Россія жила напряженной умственной жизнью, съ рѣзкими переходами отъ одного направленія къ другому, онъ все время съ великой точностью отражалъ въ своемъ творчествѣ разнообразныя измѣненія общественной мысли и чувства, умѣя схватить ихъ при самомъ возникновеніи. Вслѣдствіе этого его произведенія представляютъ богатѣйшій матеріалъ для характеристики развитія русской общественной жизни въ такія эпохи, какъ сороковые, шестидесятыя и семидесятыя годы. Это живая картина развитія нашего общественнаго самосознанія въ указанный періодъ, столь близкій къ намъ по тѣмъ настроеніямъ, какія господствовали тогда: основныя идеи, возникшія въ этотъ періодъ общественнаго возрожденія, и до сихъ поръ волнуютъ нашихъ современниковъ.

Записки охотника

Отмѣченныя только что характерныя особенности таланта Тургенева отразились въ цѣломъ рядѣ его произведеній; съ достаточной силой сказались онѣ и въ первомъ его выдающемся сочиненіи—сборникѣ рассказовъ, извѣстныхъ подъ скромнымъ заглавіемъ: „Записки охотника“. Здѣсь, какъ и въ позднѣйшихъ своихъ со-

зданіяхъ, Тургеневъ обнаружилъ удивительную чуткость къ пониманію настроенія лучшей части русскаго общества и съ помощью яркихъ художественныхъ картинъ съ особенной силой выдвинулъ то гуманное чувство по отношенію къ мужику, изнывавшему въ крѣпостномъ правѣ, которое отъ времени до времени находило себѣ выраженіе въ русской литературѣ, хотя и въ очень незначительной степени, еще со второй половины XVIII-го вѣка.

Цѣлый рядъ обстоятельствъ содѣйствовалъ тому, чтобы Тургеневъ выступилъ въ своихъ „Запискахъ охотника“ на защиту обездоленнаго народа, за которымъ большинство помѣщиковъ отказывалось признавать какія бы то ни было, хотя бы даже элементарныя, права человѣческой личности.

На первомъ планѣ здѣсь должны быть поставлены дѣтскія впечатлѣнія; воспринятія маленькимъ Тургеневымъ въ родительскомъ домѣ. Благодаря личнымъ воспоминаніямъ Тургенева, съ одной стороны, и свидѣтельствамъ современниковъ, съ другой, мы можемъ безъ особаго труда уяснить себѣ характеръ этихъ впечатлѣній и то дѣйствіе, какое должны были они имѣть на будущаго автора „Записокъ охотника“.

Тяжело жилось маленькому Тургеневу въ родной семьѣ. Онъ не видѣлъ нѣжной материнской ласки, теплаго участія къ своему внутреннему міру, любовнаго вниманія и сердечности со стороны близкихъ людей. Въмѣсто этого въ семьѣ Тургеневыхъ царилъ холодность, даже жестокость въ обращеніи съ дѣтьми. Тѣлесное наказаніе считалось едва-ли не единственнымъ средствомъ воспитанія: „Драли меня, рассказываетъ Тургеневъ,—за всякіе пустяки чуть не каждый день“, и въ своихъ воспоминаніяхъ приводитъ нѣсколько фактовъ, ярко иллюстрирующихъ тѣ безобразныя воспитательныя приемы, которые, по мнѣнію его родителей, они могли повліять благотворнымъ образомъ на ихъ дѣтей. Иностранцы воспитатели и воспитательницы, смотрѣвшіе чисто формально на свои обязанности, не могли пробудить въ душѣ ребенка теплаго чувства къ себѣ. Одно только лицо относилось съ нѣжной любовью къ маленькому Тургеневу: это былъ дворовый человѣкъ его родителей, простой русскій крестьянинъ Федоръ Ивановичъ Лобановъ, отъ котораго онъ научился русской грамотѣ и, что еще важнѣе, научился страстно любить русскую книгу, русскую поэзію, считавшуюся въ домѣ его родителей чѣмъ-то совсѣмъ непристойнымъ, равно какъ и русскіе писатели, бывшіе, по мнѣнію его бабушки, либо горькими пьяницами, либо круглыми дураками.

Легко понять, какъ долженъ былъ привязаться къ Лобанову одинокій ребенокъ, надѣленный отъ природы нѣжнымъ, отзывчивымъ сердцемъ, жаждавшимъ участія и ласки. Эта нѣжная привязанность къ простому крѣпостному человѣку пробудила въ душѣ маленькаго Тургенева доброжелательное чувство къ русскому мужику вообще и содѣйствовала уничтоженію той созданной вѣками пропасти, которая лежала между нимъ, какъ сыномъ русскаго помѣщика, владѣющаго крѣпостными крестьянами, и находящимся въ рабствѣ народомъ.

Еще болѣе способствовали развитію у Тургенева симпатій къ народу и его горемычной долѣ тѣ картины народныхъ страданій, которыя пришлось наблюдать ему въ родномъ домѣ съ того времени, какъ только онъ помнилъ себя.

Семья Тургеневыхъ принадлежала къ тѣмъ помѣщичьимъ родамъ, у которыхъ жестокое обращеніе съ крѣпостными обратилось въ своего рода традицію, переда-

валось изъ поколѣнія въ поколѣніе. Предки Тургенева съ отцовской и материнской стороны приобрѣли себѣ печальную извѣстность своимъ безсердечнымъ отношеніемъ къ подвластному народу. Такое же отношеніе сохранилось и у родныхъ будущаго писателя.

„Громадный старинный домъ Тургеневыхъ въ сорокъ комнатъ представлялъ изъ себя гнѣздо всевозможныхъ нравственныхъ пытокъ и физическихъ мученій... Здѣсь ни во что ставили человѣческія слезы и человѣческое счастье. Разбить дорогое чувство, однимъ жестомъ разрушить надежду всей жизни, однимъ капризомъ обездолить цѣлую семью казалось своего рода праздникомъ, торжествомъ власти... Сколько совершалось здѣсь драмъ день за днемъ никѣмъ незримыхъ, никому невѣдомыхъ“. Такъ характеризуетъ г. Ивановъ, авторъ лучшаго изслѣдованія о Тургеневѣ (И. С. Тургеневъ. Жизнь. Личность. Творчество) ту обстановку, въ которой пришлось развиваться будущему писателю, и нельзя не признать, что въ этихъ словахъ очень удачно сформулировано то впечатлѣніе, какое остается у читателя, ознакомившагося съ различными свѣдѣніями о семьѣ Тургеневыхъ, какія можно найти, какъ въ художественной переработкѣ въ сочиненіяхъ нашего писателя, такъ и въ воспоминаніяхъ о его семьѣ нѣкоторыхъ современниковъ.

Такимъ образомъ, личные невзгоды одинокаго, лишеннаго любви и ласки ребенка, а съ другой стороны, страданія подневольнаго народа, изъ среды котораго вышелъ самый близкій въ дѣтствѣ къ Тургеневу человѣкъ,—все это должно было содѣйствовать тому, чтобы чуткій, гуманный отъ природы, не выносившій чужого горя ребенокъ еще съ раннихъ лѣтъ проникся глубокой симпатіей къ беззащитному, покорно несущему свой крестъ крестьянину и страстной враждой ко всему тому, что было причиной его горькой доли.

Дальнѣйшая жизнь Тургенева въ молодые годы складывается такимъ образомъ, что чисто бессознательныя симпатіи и антипатіи, возникшія на почвѣ дѣтскихъ впечатлѣній, переходятъ въ ясныя, опредѣленныя убѣжденія, тѣмъ съ большей страстностью исповѣдуемая, чѣмъ сильнѣе замѣчалось противорѣчіе между ними и окружавшей дѣйствительностью. Сюда нужно отнести, прежде всего, чтеніе такихъ авторовъ, какъ Ауэрбахъ и Жоржъ-Зандъ, произведенія которыхъ проникнуты горячимъ сочувствіемъ къ униженнымъ и оскорбленнымъ, къ меньшей братіи.

Общеніе съ кружкомъ Станкевича и Вѣлинскаго, особенно вліяніе этихъ двухъ замѣчательныхъ представителей поколѣнія идеалистовъ 30-хъ годовъ, а также изученіе нѣмецкой философіи, въ частности системы Гегеля, еще болѣе укрѣпили и осмыслили пробудившееся у Тургенева уже въ раннемъ дѣтствѣ непреодолимое отвращеніе къ грубости, насилію и, прежде всего, къ крѣпостному праву. Мало по малу для него становится прямо невыносимой та жизнь, тотъ общественный строй, который всюду давалъ себя чувствовать въ Россіи, и отъ котораго стонали миллионы русскаго народа. „Все, что я видѣлъ вокругъ себя,—писалъ впоследствии Тургеневъ объ этомъ періодѣ своей жизни,—возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія, отвращенія, наконецъ... Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ... Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все,

противъ чего я рѣшился бороться до конца, съ чѣмъ я поклялся никогда не примириться. Это была моя Аннибаловская клятва, и не я одинъ далъ ее себѣ тогда". Изъ этого любопытнаго признанія Тургенева ясно видно, какъ онъ относился къ народному рабству, когда его міровоззрѣніе вполнѣ сложилось (это была вторая половина сороковыхъ годовъ): вмѣстѣ съ тѣмъ послѣднія слова его показываютъ, что въ этомъ случаѣ Тургеневъ раздѣлялъ только настроеніе цѣлой группы русскихъ людей, подобно ему сознавшихъ всю ненормальность крѣпостного строя. Это были, прежде всего, молодые идеалисты-энтузіасты, около половины тридцатыхъ годовъ группировавшіеся около Станкевича и Бѣлинскаго, вполнѣ вліяніемъ значительно разошедшіеся въ своихъ основныхъ взглядахъ, но сохранившіе прежнее отношеніе къ крѣпостному праву, а также то новое поколѣніе русскихъ читателей, которое воспитывалось на статьяхъ Бѣлинскаго и проникалось его міровоззрѣніемъ. Такъ что Тургеневъ въ этомъ случаѣ вполнѣ раздѣлялъ взгляды лучшихъ людей сороковыхъ годовъ и, выражая свою вражду къ народному рабству, вмѣстѣ съ тѣмъ передалъ отношеніе къ этому коренному злу русской жизни тѣхъ изъ своихъ современниковъ, которые начали сознавать свои обязанности передъ обществомъ и народомъ.

Какъ же выполнилъ Тургеневъ свою „Аннибаловскую клятву“, какою средство выбралъ онъ для борьбы съ ненавистнымъ врагомъ? Средство это было художественное слово, то благороднѣйшее орудіе, какимъ давно уже пользуются лучшие представители челоѣчества въ борьбѣ со всѣмъ тѣмъ, что давитъ и унижаетъ личность, что мѣшаетъ развиваться истинному прогрессу. Легко понять, почему Тургеневъ остановился именно на этомъ способѣ борьбы. Подъ вліяніемъ такихъ писателей, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь и Бѣлинскій, къ которымъ онъ относился съ глубокимъ уваженіемъ, какъ своимъ учителямъ на литературномъ поприщѣ, у него долженъ былъ выработаться, особенно благодаря двумъ послѣднимъ, взглядъ на поэзію, какъ на могучее орудіе борьбы за лучшие идеалы жизни, тотъ взглядъ, который такъ пламенно проповѣдывалъ Бѣлинскій въ послѣдній періодъ своей жизни. Если при этомъ принять во вниманіе, что Тургеневъ въ это время уже былъ далеко не чуждъ литературѣ*), то станетъ вполнѣ яснымъ, что онъ, какъ писатель, долженъ былъ вступить въ борьбу съ ненавистнымъ ему врагомъ при помощи наиболѣе доступнаго ему оружія—художественнаго слова.

За первымъ рассказомъ: „Хоръ и Калинычъ“, напечатаннымъ въ январской книжкѣ „Современника“ за 1847 годъ, въ томъ же журналѣ помѣщались и другіе рассказы, все болѣе и болѣе создавшіе извѣстность ихъ автору, а черезъ пять лѣтъ, въ началѣ 1852-го года, они вышли отдѣльнымъ изданіемъ, въ двухъ томахъ, подъ общимъ заглавіемъ: „Записки охотника“. Авторъ былъ признанъ вреднымъ челоѣкомъ, и ему при первомъ удобномъ случаѣ дали почувствовать это: за невиннѣйшій некрологъ о Гоголѣ Тургеневъ, послѣ мѣсячнаго ареста при полиціи, долженъ былъ болѣе, чѣмъ въ теченіе года, жить безвыѣздно въ имѣніи родныхъ. Эта строгая мѣра, вызванная появленіемъ въ свѣтъ „Записокъ охотника“, свидѣтельствуетъ

*) Кроме стихотворныхъ произведеній, онъ до 1847 года, когда появился въ журналѣ „Современникъ“ первый рассказъ изъ „Записокъ охотника“, успѣлъ напечатать драматическій очеркъ „Везденежье“, рассказы „Андрей Колосовъ“, „Три портрета“, а также двѣ-три критическія статьи.

о томъ, что книга эта далеко не была безопасной для господствовавшаго въ то время на Руси строя.

Что же представляютъ собою „Записки охотника“, что новаго внесли онѣ въ настроеніе русскаго читателя, въ чемъ ихъ общественное и историко-литературное значеніе? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ послужитъ краткій разборъ этого перваго замѣчательнаго произведенія И. С. Тургенева.

„Записки охотника“ распадаются на 25 отдѣльныхъ рассказовъ, считая эпилогъ: „Лѣсъ и степь“. Все они, за исключеніемъ очень немногихъ, посвящены изображенію крѣпостнаго народа и его жизни, а также помѣщиковъ, главнымъ образомъ, со стороны ихъ отношенія къ крестьянамъ. На ряду съ этимъ въ каждомъ почти рассказѣ читатель находитъ, въ видѣ, такъ сказать, фона, на которомъ разыгрывается дѣйствіе, чрезвычайно искусно написанныя картины природы средней полосы Россіи. Въ длинной вереницѣ разнообразныхъ типовъ вывелъ передъ нами Тургеневъ современное ему русское крестьянство. Тутъ и крестьяне-практики, олицетворенная жидейская мудрость, воспитанная многолѣтними тяжелыми трудами; и люди, одаренные необыкновенно тонкой, артистической духовной организаціей, съ изумительно развитымъ чувствомъ природы, ласковые, сердечные, безконечно гуманные; и суровые по виду, но надѣленные золотымъ сердцемъ строгіе исполнители долга, какой наложила на нихъ судьба; и загнанные, забытые, измученные тяжелымъ гнетомъ крѣпостнаго права, часто потерявшіе человѣческій образъ и подобіе несчастныя жертвы народнаго рабства; и нравственно испорченныя натуры—продуктъ все того же крѣпостнаго уклада жизни; и люди, отъ природы одаренные необычайно сильно развитымъ нравственнымъ чувствомъ, врожденные праведники, предъ душевной красотой и величіемъ которыхъ нельзя не преклоняться.

Остановимся нѣсколько подробнѣе на болѣе любопытныхъ представителяхъ народной массы у Тургенева: на крестьянахъ, особенно угнетенныхъ крѣпостнымъ правомъ, и на свѣтлыхъ личностяхъ изъ народа, съ могучимъ нравственнымъ чувствомъ, котораго не могли заглушить ни всеокрушающее вліяніе среды, ни подавляющія все чистое и свѣтлое житейскія невзгоды и испытанія. Разсмотрѣніе первой изъ отмѣченныхъ группъ покажетъ, какъ жилось русскому человѣку подъ властью помѣщиковъ, знакомство съ представителями второй категоріи крестьянства значительно можетъ уяснить основную точку зрѣнія Тургенева на русскій народъ.

Начнемъ съ первыхъ.

Образы загнанныхъ, забытыхъ крѣпостнымъ правомъ крестьянъ встрѣчаемъ мы во многихъ рассказахъ изъ „Записокъ охотника“. Однако, всюду они выступаютъ въ качествѣ второстепенныхъ, эпизодическихъ лицъ; подчасъ художникъ изображаетъ ихъ какъ бы вскользь, мимоходомъ, точно мелкую, мало значительную подробность рисуемой картины. Въѣтъ съ тѣмъ нигдѣ Тургеневъ не сгущаетъ красокъ, не рисуетъ потрясающихъ душу сценъ народнаго страданія, хотя такого рода матеріалъ, которымъ широко пользовались позднѣйшіе изобразители народной жизни до 1861-го года, конечно, былъ въ изобиліи къ его услугамъ. Эта кажущаяся съ перваго раза странность въ обрисовкѣ Тургеневымъ крѣпостнаго строя легко, впрочемъ, объясняется, если вспомнить то время, когда онъ выступилъ со своими „Записками“. Крѣпостное право считалось тогда одной изъ незыблемыхъ основъ русской жизни,

и возставать противъ него значило подрывать коренные устои существовавшего строя. Понятно, что при господствѣ такой точки зрѣнія на крѣпостной строй невозможно было слишкомъ открыто нападать въ печати на ненормальность положенія народа уже по тому одному, что тогдашняя цензура не пропустила бы подобной книги. Поневолѣ приходилось писать такъ, чтобы чуткій читатель сумѣлъ читать между строкъ, по немногимъ какъ бы вскользь брошеннымъ намекамъ и замѣчаніямъ могъ разгадать сокровенныя мысли автора. Вотъ почему отъ современнаго намъ читателя, желающаго должнымъ образомъ понять „Записки охотника“, особенно тѣ мѣста ихъ, гдѣ рѣчь идетъ о крѣпостномъ правѣ, требуется глубокая вдумчивость, большое вниманіе къ дѣятелямъ, умѣніе по немногимъ отдѣльнымъ художественнымъ штрихамъ возстановить и прочувствовать цѣлую картину жизни.

Такими рассказами, гдѣ съ особенной силой выступаетъ неприглядная доля русскаго простолюдина, отданнаго въ рабство помѣщикамъ, являются „Бурмистръ“, „Льговъ“, „Малиновая вода“, „Контора“, „Свиданіе“, „Ермолай и Мельничиха“, „Два помѣщика“, отчасти „Бирюкъ“ и нѣк. др. Разсмотримъ двѣ-три сцены изъ этихъ рассказовъ, чтобы по нимъ судить какъ о манерѣ изображенія Тургеневымъ страданій народа подъ властью помѣщиковъ, такъ и томъ чувствѣ, какое возникаетъ у читателя при вдумчивомъ отношеніи къ этимъ сценамъ.

Вотъ любопытный въ этомъ отношеніи эпизодъ изъ рассказа: „Бурмистръ“, ярко характеризующій, несмотря на свою сжатость, отношеніе къ крестьянамъ помѣщиковъ и безпомощность этихъ послѣднихъ. Предъ нами два мужика, „оба въ домашнихъ заплатанныхъ рубахахъ, на босу ногу и подпоясанные веревками“. Не обращая вниманія на кулаки растерявагося старосты, они становятся на колѣни возлѣ грязной лужи въ ожиданіи появленія барина, пріѣхавшаго посѣтить своихъ крестьянъ. Стоило только Пѣночкину (фамилія помѣщика) замѣтить, что крестьяне имѣютъ къ нему дѣло, какъ онъ „нахмурился и закусилъ губы“; онъ, еще не зная, въ чемъ дѣло, уже недоволенъ тѣмъ, что осмѣливаются беспокоить его особу. Однако съ нимъ гость, и онъ находитъ неудобнымъ не выслушать просителей. Побуждаемый грубыми понукиваніями Пѣночкина, одинъ изъ нихъ шестидесятилѣтній старикъ, уже внѣшній видъ котораго говоритъ о невозможныхъ условіяхъ существованія, наконецъ, поборовъ волненіе, говоритъ, въ чемъ дѣло: оказывается, онъ вмѣстѣ съ сыномъ пришелъ искать у барина защиты противъ бурмистра, который „замучилъ совсѣмъ, разорилъ въ конецъ. Двухъ сыновей безъ очереди въ рекруты отдалъ... и третьяго отнимаетъ... послѣднюю коровушку со двора свель... и хозяйку избилъ“... Передъ нами въ этихъ немногихъ словахъ—цѣлая драма крестьянской семьи, разоренной до тла, благодаря произволу бурмистра. Наконецъ, не въ моготу стало несчастному крестьянину, и онъ осмѣлился искать спасенія у того, кто, по его мнѣнію, одинъ могъ помочь ему, отъ кого зависѣло все его жалкое существованіе. Кому, казалось бы, какъ не помѣщику, слѣдовало позаботиться о своихъ крестьянахъ, всю жизнь трудившихся для его благополучія? Но Пѣночкинъ разсуждаетъ иначе. Онъ считаетъ совершенно естественнымъ выжимать послѣдніе соки изъ крестьянъ, но думать объ ихъ благополучіи—это не его дѣло. И вотъ онъ, возмущенный тѣмъ, что его осмѣлились беспокоить, уже негодуетъ на дерзкаго, по его мнѣнію, просителя и только ищетъ повода, чтобы сорвать на немъ свою злобу. Поводъ не замедлил отыскаться. Въ своей жалобѣ старикъ, между

прочимъ, упомянулъ, что бурмистръ съ тѣхъ поръ забралъ его въ кабалу, какъ пять лѣтъ тому назадъ внесъ за него недоимку. Упомянутое о недоимкѣ было достаточно, чтобы Пѣночкинъ счелъ себя въ правѣ обрушиться всей силой своего барскаго гнѣва на просителя. „А отчего недоимка за тобой завелась“? (Старикъ понурилъ голову). „Чай, пьянствовать любишь, по кабакамъ шататься“? (Старикъ разинулъ было ротъ). „Знаю я васъ, съ запальчивостью продолжалъ Пѣночкинъ, — ваше дѣло пить да на печи лежать, а хорошій мужикъ за васъ отвѣчай“, и т. д. и т. д. А когда сынъ старика отъ себя вставилъ слово въ отцовскую мольбу о защитѣ, указывая на то, что бурмистръ не ихъ однихъ притѣсняетъ, Пѣночкинъ готовъ видѣть въ этомъ бунтъ, и только присутствіе посторонняго человѣка удерживаетъ его отъ кулачной расправы.

Эта небольшая сцена достаточно ярко характеризуетъ какъ полную беспомощность крѣпостнаго крестьянина, такъ и обращеніе съ нимъ помѣщика. Не нужно при этомъ забывать, что Пѣночкинъ, вѣдь, не чуждъ культуры: онъ и воспитаніе получилъ модное, и въ высшемъ обществѣ потерся, выписываетъ французскія книги и газеты, и музыкой увлекается, и на зиму въ Петербургъ ѣздитъ. Какъ-же должны были относиться къ крестьянамъ тѣ представители русскаго дворянства, которыхъ просвѣщеніе не коснулось даже въ такой мѣрѣ? Подобнаго рода болѣе, чѣмъ равнодушное отношеніе къ крѣпостнымъ далеко не было рѣдкостью въ дореформенное время: не даромъ Тургеневъ неоднократно и въ другихъ разсказахъ отмѣчаетъ безвыходное положеніе крестьянина, обратившагося за помощью ко всемогущему въ его глазахъ барину и получившаго въ отвѣтъ одну ругань.

Такъ, на примѣръ, въ „Малиновой водѣ“ передъ нами выступаетъ эпизодическое лицо — крестьянинъ Власъ, которому не подь-силу стало, со смертью сына-работника, платить громадный оброкъ. Отправился онъ пѣшкомъ изъ Орловской губерніи въ Москву къ барину, въ наивной надеждѣ, что тотъ, выслушавъ его, сбавитъ оброкъ. „Что-жъ твой баринъ“? спрашиваетъ у Власа одно изъ дѣйствующихъ лицъ разсказа — „Что баринъ? Прогналъ меня! Говоритъ, какъ смѣешь прямо ко мнѣ итти: на то есть приказчикъ; ты, говоритъ, сперва приказчику обязанъ донести“. И пошелъ ни съ чѣмъ Власъ назадъ съ перспективой все новыхъ и новыхъ недоимокъ, непосильнаго труда, голодовки, полного разоренія всей семьи — и такъ до самой могилы.

Какъ бы не пришлось плохо крестьянину, помѣщику, въ большинствѣ случаевъ, не находятъ нужнымъ итти къ нему на помощь и тѣмъ или инымъ способомъ облегчить его бѣдственное положеніе; вмѣсто этого они стараются всѣми правдами и неправдами извлечь для себя возможно болѣе матеріальной выгоды изъ крестьянскаго труда, хотя бы это стоило порою полного разоренія ихъ крѣпостныхъ и превращало ихъ во вьючныхъ животныхъ, отъ колыбели до могилы изнашивающихъ отъ непосильной работы. Вслѣдствіе этого страшная бѣдность являлась нерѣдко постоянной спутницей крѣпостныхъ крестьянъ, и Тургеневъ неоднократно обращаетъ вниманіе читателя на эту сторону народной жизни. Избѣгая всякихъ подчеркиваній, преувеличеній, въ двухъ-трехъ словахъ онъ всегда ярко отмѣняетъ безысходную нужду въ народной жизни. Такъ, изображая, на примѣръ, въ „Бирюкѣ“ мужика, ворующаго лѣсъ, авторъ очень искусно, указаніемъ на его наружность, дрянную лошадевку, отмѣчаетъ его тяжелую нужду, а безсвязной рѣчью мужика,

обращенной къ пойманному его лѣсническому („Опусти... съ голодухи... приказчикъ — разорены во какъ... не погуби. Вашъ-то самъ знаешь, заѣсть, во какъ... отпусти... ей Богу, съ голодухи... дѣтки пищать, самъ знаешь. Круто, во какъ, приходится“), лучше, чѣмъ длинными описаніями, даетъ понять читателю, какъ жилось этому несчастному мужику, и пробуждаетъ въ душѣ его чувство глубокаго состраданія. Такъ же сжато, путемъ мимолетныхъ замѣчаній объ убогой обстановкѣ избы лѣсника, онъ вызываетъ у читателя очень яркое и сильное представленіе о нищенскомъ существованіи лѣсника Оомы, опять-таки пробуждая къ нему живое участіе.

Еще примѣръ, который покажетъ намъ одну любопытную сторону жизни крестьянъ подъ властью помѣщиковъ. Нисколько не заботясь о нихъ, думая только о полученіи возможно большей выгоды отъ дароваго труда, обременяя народъ тяжелой работой или же оброками, послѣдніе, естественно, ни во что не ставили личность простаго человѣка и распорядились ими такъ, какъ если бы это были не люди, безсловесныя животныя или же неодушевленные предметы. Исторія Сучка изъ разказа: „Льговъ“ — прекрасная иллюстрація къ сдѣланному только что утвержденію. По произволу господъ, ни на чемъ разумномъ не основанному, онъ то назначается кучеромъ, то буфетчикомъ, то актеромъ, то поваромъ, то „фалеторомъ“, то казачкомъ, то садовникомъ, то сапожникомъ, то, наконецъ, рыболовомъ... Вотъ отрывокъ изъ бесѣды автора съ этимъ Сучкомъ, характеризующій мотивы такого отношенія къ крѣпостному, какъ къ человѣку, который не долженъ имѣть своихъ вкусовъ и наклонностей къ тому или иному образу жизни и занятіямъ, а быть только слѣпымъ исполнителемъ барской воли. „За что же тебя въ повара разжаловали“? (изъ-актеровъ) спрашиваетъ авторъ у Сучка. — „А братъ у меня сбѣжалъ“, отвѣчаетъ тотъ, проливая своимъ отвѣтомъ яркій свѣтъ на помѣщичью логику. Этотъ же самый Кузьма Сучекъ, въ бытность свою буфетнымъ служителемъ, долженъ былъ называться Антономъ, а не Кузьмой, — „такъ барыня приказать изволила“. Крѣпостная одиссея этого Кузьмы Сучка какъ нельзя лучше показываетъ, какъ относились нѣкоторые помѣщики къ личности своихъ крестьянъ, какъ мало задумывались они надъ тѣмъ, что это тоже люди, и что нельзя ихъ, подобно мячу, швырять по бессмысленному капризу съ одного мѣста на другое.

Этихъ немногихъ примѣровъ будетъ достаточно, чтобы судить о томъ, какъ изображаетъ Тургеневъ жизнь крестьянъ подъ гнетомъ крѣпостнаго права. Нигдѣ не прибѣгая къ излишнему подчеркиванію, совершенно обходясь безъ раздражающихъ душу сценъ и крикливыхъ эффектовъ, онъ сумѣлъ истинно-художественнымъ путемъ вызвать въ сердцѣ современнаго читателя и гуманное чувство къ обездоленному народу, указывая на тѣ незаслуженныя страданія, какія сплошь и рядомъ приходилось испытывать ему въ эпоху крѣпостнаго права. Такимъ образомъ, та группа разказовъ, которые были поименованы выше, равно какъ и множество мелкихъ, но яркихъ подробностей, разсѣянныхъ въ другихъ очеркахъ изъ „Записокъ охотника“, указывали современникамъ Тургенева всю тягость положенія закрѣпощеннаго люда и пробуждали въ душѣ ихъ искреннюю жалость къ его горемычной долѣ.

Но значеніе „Записокъ охотника“ далеко не исчерпывается указаннымъ сейчасъ дѣйствіемъ ихъ на современныхъ читателей. Вызывая сочувствіе къ народу и его судьбѣ путемъ изображенія тѣхъ невзгодъ, которыя ему приходилось пере-

живать, Тургеневъ въ тоже время заставляетъ читателя проникнуть самымъ глубокимъ уваженіемъ къ этому народу, искренно полюбить его. Достигаетъ онъ этого чисто художественнымъ путемъ—созданіемъ народныхъ образовъ высокой нравственной чистоты, духовное величіе которыхъ становится тѣмъ болѣе чарующимъ, чѣмъ непримѣднѣе тѣ условія, гдѣ проявляется ихъ благородная душа. Такими образами являются Касьянъ съ Красивой Мечи (въ разсказѣ того-же имени), Лукерья (Живыя мощи), лѣсничій Оома (Вирюгъ) и нѣкоторыя другія лица.

Въ лицѣ Касьяна Тургеневъ впервые намѣтилъ тотъ типъ, свойственной русской народной жизни, который позднѣе привлекалъ къ себѣ вниманіе многихъ русскихъ писателей своей чисто органической, врожденной духовной красотой и величіемъ. Различныя видоизмѣненія этого типа можно найти и у Достоевскаго и у писателей народническаго направленія и особенно у Л. Толстого. Необычайно нѣжная, трогательная любовь къ природѣ и ко всему живому, врожденное отвращеніе къ убійству живого существа, къ пролитію крови, вслѣдствіе боязни причинить кому бы то ни было страданіе, являются однѣми изъ характерныхъ чертъ Касьяна. Какъ человѣкъ, не владѣющій способностью ясно передать словами свое душевное настроеніе, онъ безсвязными, отрывочными фразами и восклицаніями выражаетъ свое любовное отношеніе къ природѣ и восторгъ передъ ея красотой, но за этими однообразными, шаблонными словами такъ и чувствуется высоко-поэтическая душа Касьяна, который въ полномъ смыслѣ дышетъ съ природой одной жизнью. Онъ глубоко скорбитъ, напримѣръ, по случаю истребленія кушцами березовой рощи и, даже не стѣсняясь барина, выражаетъ свой восторгъ, вспоминая о природѣ Красивой Мечи. Любовь къ живымъ существамъ и отвращеніе ко всему, что причиняетъ имъ страданіе, вылились у Касьяна въ мистическую боязь крови. Когда авторъ „Записокъ“ убиваетъ въ его присутствіи коростеля, Касьянъ подходитъ къ тому мѣсту, гдѣ упала подстрѣленная птица, и брызнуло нѣсколько капель крови, пугливо взглядываетъ на охотника и шепчетъ: „Грѣхъ! Ахъ, вотъ это грѣхъ!“ Чувство жалости къ погибшей птицѣ такъ мучитъ его, что онъ не выдерживаетъ и, нѣкоторое время спустя, заводитъ такой разговоръ съ бариномъ: „Ну, для чего ты птичку убилъ?.. станешь ты ее ѣсть! Ты ее для потѣхи своей убилъ.. Коростель—птица вольная, лѣсная. И не онъ одинъ: много ея, всякой лѣсной твари, и полевой, и рѣчной твари, и болотной, и луговой, верховой и низовой—и грѣхъ ее убивать, и пускай она живетъ на землѣ до своего предѣла... Кровь, продолжалъ онъ, помолчавъ,—святое дѣло кровь! Кровь солнышка Божія не видать, кровь отъ свѣту прячется... великій грѣхъ показывать свѣту кровь, великій грѣхъ и страхъ... Охъ, великій!“ Изъ отдѣльныхъ замѣчаній Касьяна, вставляемыхъ въ разговоръ съ авторомъ, видно, что его мысль неустанно занята вопросомъ о томъ, какъ должна идти жизнь согласно съ внутреннимъ закономъ совѣсти. Онъ неоднократно говоритъ о томъ, что „справедливъ долженъ быть человѣкъ“, Богу угоденъ, жить, какъ Господь велитъ и т. п. Вопросъ о внутренней правдѣ жизни не даетъ ему покоя. Въ поискахъ за этой святой правдой-матушкой, о которой такъ тоскуютъ лучшіе русскіе люди, исколесилъ онъ чуть не всю Русь—и все не можетъ успокоиться, все не можетъ примириться съ тѣмъ, что „дома“ дѣлается, что „справедливости въ человѣкѣ нѣтъ“. Глубоко вѣрные слова Касьяна: „и не одинъ я грѣшникъ, много другихъ крестьянъ въ лаптяхъ ходятъ, по міру бродятъ,

правды ищутъ" указываютъ намъ, что въ лицѣ этого юродиваго Тургеневъ далъ читателю типическій образъ человѣка изъ народа, проникнутаго высшими нравственными началами, завятаго рѣшеніемъ вопроса о томъ, какъ жить по Божьему, по совѣсти. Тѣмъ болѣе величественной представляется духовная красота Касьяна, что самъ онъ находится въ пренебреженіи у окрестныхъ жителей, глядящихъ на него, какъ на чудака, юродиваго.

Еще болѣе свѣтлое впечатлѣніе производитъ трогательный образъ несчастной Лукерьи изъ разсказа: „Живыя мощи“ *). Судьба сыграла злую шутку съ Лукерьей. Первая красавица во всей деревнѣ, хохотунья, плясунья, пѣвунья, предметъ воздыханій всѣхъ деревенскихъ парней, Лукерья, вскорѣ послѣ помолвки съ нѣжно любимымъ женихомъ, случайно унала съ крыльца и съ тѣхъ поръ начала сохнуть, чахнуть и въ короткое время превратилась въ жалкую калѣку, неспособную двигаться, говорящую чуть не шепотомъ. Даже близкіе родные, занятые особенно въ лѣтнее время, неотложными работами, не имѣютъ возможности дать хоть какой-нибудь уходъ за несчастной, и лежитъ она одинокая, безпомощная въ заброшенномъ сараѣ; поставятъ ей съ утра кружку воды, чего нибудь поѣсть—и она на цѣлый день одна,—только дѣвочка-сиротка, такая же одинокая, какъ и она, изрѣдка навѣщаетъ ее. Какъ можно очерствѣть, озлобиться отъ такой судьбы, когда нелѣпый случай разбиваетъ всякую надежду на близкое счастье, когда изъ полного жизни и довольства существа превращаешься въ жалкое ничтожество, способное вызывать у другихъ отвращеніе къ себѣ! И однако же Лукерья не только не очерствѣла, не пала духомъ, но, наоборотъ, подъ вліяніемъ страданія, просвѣтлѣла душой и стала настолько же прекрасна своимъ нравственнымъ обликомъ, насколько безобразна по внѣшности. Она, прежде всего, поражаетъ насъ своею незлобливостью, умѣніемъ примириться со своимъ тяжелымъ положеніемъ. Ни одного слова ропота, недовольства судьбою не услышимъ мы отъ нея. Наоборотъ, она убѣждена, что другіе бываютъ еще въ худшемъ положеніи.—„у иного и пристанища нѣтъ“. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ высокой степени привлекательной представляется ея нѣжная любовь къ природѣ и всему живущему. Ей доставляетъ искреннюю радость наблюдать жизнь природы, слѣдить за тѣмъ, какъ пчелы жужжатъ на пасѣкѣ, какъ воркуютъ на крышѣ голуби, какъ насѣдка съ цыплятами клюетъ крошки, какъ ласточка кормитъ своихъ птенчиковъ. Весь ея внутренній міръ освѣщается глубокимъ религиознымъ чувствомъ, вѣрою въ загробное существованіе, въ то, что тамъ, въ новой жизни, она избавится отъ страданій и получитъ награду въ царствіи небесномъ. Однако, пока она жива, ея душа полна скорби за своихъ односельчанъ, которымъ далеко не весело живетъ подъ властью помѣщицы. Прощаясь съ Лукерьей, авторъ спрашиваетъ, не нужно-ли ей чего, отъ души желая хоть чѣмъ-нибудь облегчить ея тяжелое положеніе. И вотъ какой отвѣтъ получаетъ онъ на свой вопросъ: „Ничего мнѣ не нужно, вѣсма довольна, слава Богу! Дай Богъ вѣсма здоровья! А вотъ вамъ бы, баринъ, матушку вашу уговорить—крестьяне здѣш-

*) Разсказъ этотъ написанъ значительно позднѣе—въ 1875-мъ году, но самимъ авторомъ внесенъ въ „Записки охотника“; по всей вѣроятности, онъ былъ задуманъ одновременно съ другими, но получилъ окончательную обработку, чуть не четверть вѣка спустя.

ніе бѣдныя—хоть бы малость оброку она съ нихъ сбавила! Земли у нихъ недостаточно, угодій нѣтъ... Они бы за васъ Богу помолились... А мнѣ ничего не нужно,—всѣмъ довольна“. Развѣ это не образецъ кротости и самоотреченія, согрѣтаго самой живой любовью къ своимъ ближнимъ? И это простая русская крестьянская дѣвушка; ей не отъ кого было воспринять свое міровоззрѣніе; оно—результатъ ея благородной души, очищенной страданіями.

Въ ряду лицъ, привлекательныхъ по своему нравственному облику, обращаетъ на себя вниманіе въ „Запискахъ охотника“ образъ Оомы лѣсника, по прозванію Бирюкъ, въ разказѣ того же имени. Подъ суровой наружностью этого человѣка скрывается золотое сердце, котораго, однако, никто не хочетъ разгадать въ немъ. Наоборотъ, окрестные мужики ненавидятъ его потому, что онъ „вязанки хворосту не дастъ утащить; въ какую бы ни было пору, хоть въ самую полночь, нагрянетъ, какъ снѣгъ на голову—и ты не думай сопротивляться: силенъ и ловокъ, какъ бѣсъ... И ничѣмъ его взять нельзя: ни виномъ, ни деньгами; ни на какую приманку не идетъ“. Однако это отношеніе Оомы къ своимъ обязанностямъ, столь возмущающее сосѣднихъ мужиковъ, съ нашей точки зрѣнія, можетъ быть поставлено ему только въ заслугу, ибо свидѣтельствуетъ о его честномъ отношеніи къ возложеннымъ на него обязанностямъ. Но это строгое исполненіе долга передъ помѣщикомъ не даетъ, тѣмъ не менѣе, душевнаго спокойствія Оомѣ. Отставая господскіе интересы, строго слѣдя за сохранностью вѣреннаго его попеченію лѣса, онъ постоянно мучится сознаниемъ, что доведенные до полного разоренія крестьяне часто идутъ воровать „съ голодухи“, и въ душѣ его, поэтому, вѣчная борьба между чувствомъ долга и жалостью къ пойманымъ похитителямъ. Сознаніе своихъ обязанностей обыкновенно одерживаетъ верхъ, но бываетъ и такъ, что чувство состраданія огазывается сильнѣе, и Бирюкъ щадитъ пойманнаго вора, отпуская его на волю. Но ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ онъ не получаетъ душевнаго удовлетворенія, такъ какъ внутренній разладъ постоянно гложетъ его сердце.

Краткимъ разсмотрѣніемъ образовъ Касьяна, Лукерьи и Бирюка мы ограничимся, разбирая привлекательныя въ нравственномъ отношеніи крестьянскіе типы въ изображеніи Тургенева. Если тѣ мѣста изъ „Записокъ охотника“, гдѣ рѣчь идетъ о крестьянахъ, несущихъ на себѣ гнетъ крѣпостнаго права, вызвали живое сочувствіе къ народу и стремленіе помочь ему, то такіе образы, какъ Касьянъ, Лукерья, лѣсникъ Оома и нѣкоторые другіе, должны были научить современнаго читателя уважать въ мужикѣ человѣка, внушить ему мысль о томъ, что среди простаго народа есть люди, которые, по своимъ нравственнымъ качествамъ, достойны быть поставленными на ряду съ лучшими представителями образованнаго общества. А прямымъ слѣдствіемъ этой мысли было сознаніе всей ненормальности, всего позора крѣпостнаго права какъ для народа, такъ и для помѣщиковъ, ибо рабство унижительно не только для рабовъ, но и для рабовладельцевъ. И „Записки охотника“ именно такъ? вліяли на читателей и, такимъ образомъ подготовили сознаніе общества къ великому акту 19-го февраля 1861-го года. Не даромъ императоръ Александръ II, какъ говорятъ, лично заявилъ автору, что съ тѣхъ поръ, какъ онъ, государь, прочелъ „Записки охотника“, его ни на минуту не оставяла мысль о необходимости освобожденія крестьянъ отъ

крѣпостной зависимости; не даромъ Тургеневъ, вообще удивительно скромный въ признаніи своихъ литературныхъ заслугъ, замѣтилъ однажды, что если-бы онъ гордился своей дѣятельностью; какъ писателя, то просилъ-бы только объ одномъ,—чтобы на его могилѣ изобразили, что сдѣлала его книга для освобожденія порабощеннаго народа.

Таково великое общественное значеніе „Записокъ охотника“.

Не менѣе важно ихъ значеніе историко-литературное. Идя по пути поэтического воспроизведенія простонародной жизни, намѣченному Пушкинымъ и Гоголемъ, Тургеневъ широко расчистилъ эту дорогу, впервые въ русской литературѣ давъ въ своихъ „Запискахъ охотника“ рѣдкое разнообразіе типовъ изъ крестьянской жизни, открывъ читателямъ сокровенные тайники народнаго духа, показавъ въ немъ черты истинно-человѣческой и при томъ богато одаренной природы. вмѣстѣ съ тѣмъ, одновременно съ Григоровичемъ, но съ гораздо большимъ разнообразіемъ, яркостью и художественностью, воспроизвелъ онъ впервые послѣ „Вечеровъ на хуторѣ“ Гоголя многочисленныя бытовые стороны народной жизни и съ удивительной правдой изобразилъ природу средней полосы Россіи. Если послѣдующіе писатели, посвятившіе себя художественному изображенію простонароднаго быта и типовъ, ушли значительно дальше Тургенева въ полнотѣ и разнообразіи картины, то, какъ художникъ русской природы, онъ до сихъ поръ не имѣетъ себѣ равныхъ, и въ этомъ отношеніи „Записки охотника“ надолго еще сохранять интересъ современности, развивая въ то же время любовь и уваженіе къ простому человѣку.

Въ томъ же 1852-мъ году, когда вышли отдѣльнымъ изданіемъ „Записки охотника“, Тургеневъ написалъ двѣ повѣсти: „Муму“ и „Постоялый дворъ“, которыя по своему содержанію и основному настроенію вполнѣ примыкаютъ къ „Запискамъ охотника“. Первая изъ нихъ замѣчательна въ двухъ отношеніяхъ: по удивительной художественной разработкѣ, согрѣтой нѣжнымъ гуманнымъ чувствомъ, внутренняго міра нѣмого крестьянина Герасима, съ одной стороны, и съ другой—по не многословному, но яркому изображенію того тупого безсердечія и равнодушія къ личности крѣпостного человѣка, какое нерѣдко можно было встрѣтить среди тогдашнихъ помѣщиковъ. Повѣсть: „Постоялый дворъ“, какъ и „Муму“, какъ и нѣкоторые изъ разсмотрѣнныхъ выше рассказовъ изъ „Записокъ охотника“, рисуется намъ глубоко симпатичный образъ крестьянина Акима съ истинно христіанскою чертою всепрощенія и незлобивости, а также капризную прихоть и незнающее удержку самовластное барское корыстолюбіе, въ жертву которому приносится безъ всякаго колебанія, созданное долгодѣтнымъ трудомъ и лишениями, благосостояніе крѣпостного человѣка. Эти повѣсти, какъ и „Записки охотника“, явились, очевидно, результатомъ той „Аннибаловской клятвы“, которую далъ себѣ Тургеневъ, вступая въ борьбу съ ненавистнымъ ему крѣпостнымъ правомъ.

Причины появления „лишнихъ людей“ въ русской жизни. Гамлетъ Щигровскаго уѣзда и Чулкатуринъ.

Послѣ 1852 года Тургеневъ не возвращался больше къ изображенію народа. Вся его дѣятельность съ этого времени посвящена художественному воспроизведенію жизни русской интеллигенціи. Въ цѣломъ рядъ живыхъ образовъ далъ онъ намъ яркую характеристику современнаго ему поколѣнія—людей сороковыхъ годовъ. Чтобы ознакомиться съ типичными представителями этого поколѣнія въ тургеневскомъ изображеніи, мы остановимся на выясненіи основныхъ особенностей главныхъ героевъ такихъ произведеній, какъ „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“, „Дневникъ лишняго человѣка“, „Рудинъ“, „Дворянское гнѣздо“.

Какъ истинный художникъ, творчество котораго опирается на впечатлѣнія дѣйствительной жизни, Тургеневъ, создавая образы своихъ героевъ, на ряду съ типическими чертами, свойственными представителямъ извѣстной эпохи, надѣлилъ въ то же время каждого изъ нихъ чисто индивидуальными, имъ лично присущими свойствами. Вотъ почему, говоря о его герояхъ, какъ представителей того или иного періода русской жизни, необходимо, оставивъ въ сторонѣ ихъ личныя особенности, сосредоточить свое вниманіе на немногихъ типическихъ. Отсюда ясно, что если мы имѣемъ въ виду опредѣлить по указаннымъ произведеніямъ типическія черты поколѣнія людей сороковыхъ годовъ, намъ незачѣмъ давать ихъ полную характеристику; достаточно будетъ указать тѣ свойства, которыя являются общими для нѣсколькихъ изъ нихъ или же роднятъ ихъ съ лицами, дѣйствительно существовавшими въ эту эпоху и литературными представителями ея у другихъ писателей. Всѣ эти черты въ значительной степени объясняются влияніемъ общихъ условий, въ которыхъ находилось въ тридцатые и сороковые годы русское общество.

Условия эти создались не сразу. Грозные признаки надвигающейся реакціи все болѣе и болѣе давали чувствовать себя еще со второй половины царствованія императора Александра I. Въ сущности говоря, реакція, охватившая всю русскую жизнь, начиная съ 1825 года, и тяготѣвшая надъ нею до 1856-го года, является только нѣкоторымъ усиленіемъ тѣхъ правительственныхъ мѣропріятій, которыя бросаются въ глаза со времени возникновенія Священнаго Союза. Вотъ почему, для лучшаго пониманія особенностей общихъ условий русской жизни въ 30-е и 40-е годы, необходимо остановиться на общемъ характерѣ правительственныхъ начинаній во вторую половину царствованія Александра I.

Какъ это всегда бываетъ, новое направленіе правительственной политики нашло себѣ наиболѣе яркое выраженіе, прежде всего, въ рядѣ мѣропріятій, касавшихся дѣла просвѣщенія въ широкомъ смыслѣ слова. Здѣсь на первомъ планѣ должны быть поставлены безпримѣрныя гоненія на университетскую науку и причастныхъ къ ней лицъ—профессоровъ и студентовъ, а также все усиливавшіяся цензурныя строгости.

Такъ, въ 1822 г. комитетъ министровъ, полагая, что юношество, обучаясь въ германскихъ университетахъ, можетъ тамъ усваивать духъ мятежа и нечестія, предписалъ отозвать оттуда русскую молодежь, „поставивъ тому причиною, что университеты и другія учебныя заведенія въ Россіи достигли уже той степени, что нѣтъ

никакой нужды русскому юношеству обучаться въ иностранныхъ училищахъ". Такимъ образомъ, русская молодежь была лишена возможности приобрѣтать научныя знанія въ той странѣ, гдѣ университетская наука стояла на самомъ высомомъ уровнѣ. Если принять во вниманіе, что наши университеты въ первую половину Александровской эпохи были организованы по образцу нѣмецкихъ, то будетъ ясно, что и отечественная наука, вслѣдствіе новаго, реакціоннаго настроенія правящихъ сферъ, всюду готовыхъ видѣть разрушающій старыя устои жизни духъ, должна была подвергнуться жестокому гоненію. И дѣйствительно, послѣдніе годы царствованія Александра I представляютъ собою печальныя страницы въ исторіи русскихъ университетовъ. Для примѣра укажемъ нѣкоторые факты, относящіеся хотя-бы къ дѣятельности правой руки тогдашняго министра народнаго просвѣщенія, члена главнаго управленія училищъ Магницкаго, единственнаго въ своемъ родѣ гонителя просвѣщенія. Производя ревизію казанскаго университета, Магницкій, прежде всего, уволилъ 11 профессоровъ за неблагонадежность или недостатокъ знаній; затѣмъ, подвергли удаленію всѣ, кто сколько-нибудь могъ быть заподозренъ въ свободомыслии. Послѣ этого была подвергнута строгой ревизіи университетская бібліотека; результатомъ ревизіи было истребленіе всѣхъ книгъ, которыя, по мнѣнію Магницкаго, въ той или иной степени носили на себѣ печать вреднаго направленія. Другія книги хотя и были оставлены, но ими не могли пользоваться даже профессора, не говоря уже о студентахъ. Изъ бібліотеки казанской гимназіи Магницкій разрѣшилъ оставить всего *двѣ* книги, а остальные распорядился сжечь.

Безпримѣрная по своему вандализму дѣятельность Магницкаго была только наиболѣе яркимъ выраженіемъ того общаго духа реакціи, который все болѣе и болѣе распространялся въ Россіи во вторую половину царствованія Александра I. Съ нею, какъ нельзя болѣе, гармонировало общее направленіе министерства просвѣщенія, стремившагося совершенно искоренить въ университетахъ духъ свободнаго научнаго изслѣдованія и сдѣлать русскихъ ученыхъ своими покорными слугами.

Легко себѣ представить, каково было, при такихъ условіяхъ, положеніе профессоровъ и, вообще, всѣхъ лицъ, подвѣдомственныхъ министерству народнаго просвѣщенія. Обвиненія въ подрываніи основъ и соотвѣтствующія мѣры наказанія сыпались на головы ни въ чемъ неповинныхъ лицъ. Такъ, извѣстный харьковскій профессоръ чистой математики Осиповскій, замѣтившій на экзаменѣ студенту, что о Богѣ умѣстнѣе употребить выраженіе „существуетъ“ вмѣсто „живетъ“, единственно изъ за этого былъ лишенъ кафедры, ибо это замѣчаніе дало поводъ обвинить его въ разрушеніи основъ православной вѣры. Подобная участь едва не постигла и четырехъ профессоровъ петербургскаго университета, обвиненныхъ въ томъ, будто они вели преподаваніе въ духѣ, противномъ христіанству, и внушали студентамъ идеи, пагубныя для общественнаго порядка и благосостоянія. Такого же рода исторіи имѣли мѣсто и въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

При какихъ условіяхъ приходилось профессорамъ вести свои научныя занятія со студентами, можно составить себѣ нѣкоторое понятіе по той инструкціи, которой онѣ обязаны были подчиняться въ Казанскомъ университетѣ въ попечительство Магницкаго. Единственной конечной цѣлью ихъ занятій со студентами, какую-бы они науку ни преподавали, было насажденіе благочестія. Такъ, по требованію инструкціи, профессоръ естественныхъ наукъ долженъ „упоминать, что обширное цар-

ство природы, какъ ни представляется оно премудро и въ своемъ цѣломъ для насъ непостижимо, есть только слабый отпечатокъ того высшаго порядка, которому послѣ кратковременной жизни мы предопредѣлены, а преподаватель астрономіи укажетъ на тверди небесной пламенными буквами начертанную премудрость творца...; студентамъ (имѣется въ виду медицинскій факультетъ) нужно внушить, что Св. писаніе нераздѣльно полагаетъ искусство врачеванія съ благочестіемъ“, и т. п. Обидный, унижительный контроль начальства распространялся даже на частную, домашнюю жизнь профессоровъ. Извѣстный романистъ Лажечниковъ рассказываетъ, что за профессорами наблюдали, чтобъ они не пили вина. „У одного изъ ученыхъ мужей, которому прописали вино въ микстурѣ, былъ директоромъ, внезапно посѣтившимъ его, запечатанъ сосудъ, вмѣщавшій въ себѣ запрещенное питье. Медикъ, осмѣлившійся прописать такое лѣкарство, равно какъ и пациентъ его, остались на замѣчаніи... На торжественныхъ университетскихъ обѣдахъ пили тосты не шампанскимъ, а медомъ“.

Тяжелое ярмо правительственной опеки, готовой всюду видѣть сѣмена безбожія и стремленіе ниспровергнуть существующій строй, распространилось и на область средняго и низшаго образованія. Ученый комитетъ подвергъ пересмотру одобренные раньше учебники и нѣкоторые изъ нихъ, какъ могущіе оказать вредное вліяніе на учащихся, предписалъ уничтожить. Такъ, была изъята изъ обращенія „Книга о должностяхъ гражданина и человѣка“, написанная для народныхъ училищъ извѣстнымъ педагогомъ екатерининскихъ временъ Янковичемъ-де-Миріево и употребляемая въ нихъ съ 1783 года. Отобранные изъ училищъ экземпляры предписано было продать бумажному фабриканту по 50 к. за пудъ, съ условіемъ, чтобы „никому оныхъ не раздавать“ *).

Рука объ руку съ гоненіями на университетскую науку идутъ преслѣдованія вообще печатнаго слова путемъ цензурныхъ строгостей. Достигнуть полнаго въ этомъ отношеніи единства въ области учебной и цензурной было тѣмъ легче, что эта послѣдняя была подчинена въ то время министру народнаго просвѣщенія и представляла собою какъ-бы особый отдѣлъ его управленія. Хотя еще дѣйствовалъ старый цензурный уставъ 1804 года, тѣмъ не менѣе отношеніе цензоровъ къ печатному слову носило совершенно иной характеръ, чѣмъ въ первую половину царствованія Александра I. При министерствѣ создается особый „ученый комитетъ“, который, между прочимъ, долженъ былъ выражать свои сужденія о книгахъ всякаго рода. О направленіи дѣятельности этого комитета въ области цензуры можно судить по тому, что по его распоряженію было изъято изъ библиотекъ официальное изданіе министерства „Періодическое сочиненіе о успѣхахъ народнаго просвѣщенія“, какъ книга „опасная по нѣкоторымъ ея мѣстамъ“; профессора петербургскаго университета Галичъ, Арсеньевъ и нѣк. др. подверглись преслѣдованію за свои раньше одобренныя цензурой книги. Въ высшей степени характернымъ является также циркуляръ, направленный противъ театральной критики и воспреещающій „сужденія объ императорскомъ театрѣ и актерахъ, находящихся на службѣ его Величества“. Историки русской цензуры второй половины царствованія Александра I, характеризующа общее положеніе тогдашней печати, обыкновенно останавливаются на дѣятельности цензора Красовскаго, игравшаго важную роль и впоследствии, въ Нико-

*). Болѣе подробныя свѣдѣнія о положеніи просвѣщенія въ концѣ царствованія Александра I см. акад. Сухомлиновъ, Изсл. и статьи по рус. лит. т. I.

лаевскую эпоху. Дѣйствительно, документальныя данныя, рисующія цензорскій обликъ Красовскаго, даютъ очень ясное понятіе о томъ, какимъ недѣльнымъ гоненіямъ подвергалось въ то время русское печатное слово. Такъ, въ одномъ специальномъ сочиненіи о военномъ дѣлѣ, представленномъ ему на разсмотрѣніе, онъ слово „свобода“ замѣнилъ всюду словомъ „независимость“; въ фразѣ, гдѣ говорится, что Наполеонъ направляется въ Моравію, поражаетъ русскихъ и подъ Австерлицомъ заключаетъ миръ, слова: „поражаетъ русскихъ“ были вычеркнуты; въ другихъ мѣстахъ сдѣланы цензоромъ различнаго рода вставки, зачастую совершенно искажавшія мысль автора. Тотъ-же Красовскій запретилъ статью „О вредности грибовъ“ на томъ основаніи, что „грибы—постная пища православныхъ и писать о вредности ихъ—значитъ подрывать вѣру и распространять невѣріе“.

Таковы были грозныя проявленія все болѣе и болѣе надвигавшейся въ послѣдніе годы Александровской эпохи реакціи, видѣвшей въ безпрепятственномъ широкомъ развитіи просвѣщенія угрозу существовавшему государственному строю и ревниво ополчившейся на защиту его. Само собою разумѣется, что когда 14 декабря 1825 года въ лицѣ декабристовъ, пытавшихся устроить государственный переворотъ, встала дѣйствительно серьезная угроза господствовавшему, признаваемому ненарушимымъ государственному порядку, правительство не останавливалось ни передъ какими мѣрами, чтобы истребить въ корнѣ зародившіяся въ русскомъ обществѣ либеральныя идеи. Правительственная власть съ изумительной настойчивостью и систематичностью подчиняетъ себѣ всѣ стороны государственной, общественной и домашней жизни многомилліоннаго народа. „Она,—говоритъ академикъ А. Н. Пышинъ,—стремилаcь связать въ одномъ крѣпкомъ узлѣ всѣ нити управленія, распространить надзоръ на всѣ движенія національной жизни, все подвести къ одному уровню... За обществомъ не признавалось никакого значенія; общественное мнѣніе лишено было всякаго вліянія; общество не могло само ничего дѣлать въ своихъ интересахъ, даже самыхъ элементарныхъ, и могло двигаться только въ данныхъ рамкахъ; за него думали и дѣйствовали канцеляріи, и ему оставалось только повиноваться“. Общества, какъ сознающей себя единицы общественной жизни, самостоятельности, съ точки зрѣнія правительственной власти, не должно было быть. Это было время высшаго расцвѣта государственности, властно подавлявшей всякія попытки къ существованію внѣ ея контроля. „Такая государственность, по словамъ другого изслѣдователя, не признавала за человѣкомъ ни права любить, ни права думать, ни права говорить, ни даже права выбирать себѣ занятіе... Его жизнь была predeterminedъ заранее, она вся протекала по чужой волѣ.“

Самымъ опаснымъ врагомъ этого систематическаго, беспощаднаго подавленія всякой общественности была, конечно, свободная человѣческая мысль, и потому нѣтъ ничего удивительнаго, что правительствомъ предпринимается цѣлый рядъ новыхъ мѣръ, направленныхъ противъ печатнаго слова. Во главѣ цензуры съ 1826-го года былъ поставленъ особый верховный цензурный комитетъ, состоявшій изъ министровъ просвѣщенія, иностранныхъ и внутреннихъ дѣлъ; новый цензурный уставъ, введенный въ томъ-же году, отличался необычайной строгостью и предоставлялъ широкое поле для всякаго произвола. Согласно этому уставу, въ печати нельзя было вовсе касаться отрицательныхъ сторонъ дѣятельности какой-бы то ни было „власти“ (не исключая и будочника), чтобы не ослаблять къ ней „должнаго почтенія,

чувства преданности, вѣрности и добровольнаго повиновенія“; воспрещалось поднимать какіе бы то ни было вопросы, касавшіеся вѣдѣнія того или иного министерства; предписывалось подвергать просмотру книги, выходящія вторымъ и т. д. изданіемъ. Любопытно отношеніе новаго устава къ сочиненіямъ по философіи, исторіи, статистикѣ и географіи. По философіи, кромѣ учебниковъ, необходимыхъ для юношества, „прочія сочиненія сего рода, наполненныя безплодными и пагубными мудрствованіями новѣйшихъ временъ, вовсе печататься быть не должны“. Относительно сочиненій по исторіи, статистикѣ и географіи новый уставъ предписывалъ обращать главное вниманіе на цѣль и духъ ихъ, чтобы они не заключали ничего неблагопріятнаго монархическому правленію, никакихъ вредныхъ умствованій. Хотя въ 1828-мъ году былъ изданъ новый, казалось, болѣе благопріятный для печатнаго слова уставъ, однако цензурный гнетъ нисколько не уменьшился. Дошло дѣло до того, что періодическимъ изданіямъ было воспрещено перепечатывать изъ „Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія“ распоряженія по этому министерству и другія свѣдѣнія, а по поводу одной газетной затѣтки о дороговизнѣ извозчиковъ, — что было принято за порицаніе полиціи, — было издано распоряженіе, „дабы впредь не было допускаемо въ печати никакихъ, хотя-бы и косвенныхъ порицаній дѣйствій или распоряженій правительства и установленныхъ властей, къ какой-бы степени сіи послѣднія ни принадлежали“.

Но гоненія на мысль и печатное слово, какъ выразителя ея, въ Николаевскую эпоху на этомъ не остановились. Дальнѣйшій ходъ событій русской и западно-европейской жизни вызвалъ новыя и новыя репрессіи.

Польскій мятежъ 1830-го года и февральская революція на Западѣ въ 1848-мъ году съ новой силой вызвали преувеличенныя опасенія за прочность существовавшаго строя русской жизни, и потому эта послѣдняя съ еще большей тщательностью оберегалась отъ вторженія новыхъ идей, могущихъ такъ или иначе поколебать установленный порядокъ. Какъ и раньше, литература въ различныхъ ея видахъ считалась въ этомъ случаѣ наиболѣе могущественнымъ орудіемъ, при помощи котораго можно было распространять злонамѣренныя, съ точки зрѣнія реакціи, идеи. Отсюда доходившая до крайностей боязнь, что то или другое произведеніе окажетъ нежелательное вліяніе на общество. Въ виду этихъ соображеній, цензура не разрѣшила къ печати и постановкѣ на сценѣ такихъ, напримѣръ, произведеній, какъ „Горе отъ ума“ Грибоедова и „Ревизоръ“ Гоголя, и, только благодаря монаршей волѣ императора Николая I, эти пьесы были напечатаны и исполнены въ театрѣ. Много неприятностей вынесъ Гоголь, прежде чѣмъ добился разрѣшенія издать „Мертвыя души“. Еще болѣе испыталъ невзгодъ отъ недальновидныхъ цензоровъ Пушкинъ, которому, напримѣръ, такъ и не удалось видѣть въ печати, вслѣдствіе цензурнаго запрещенія, поэмы: „Мѣдный всадникъ“. Но особенно опасались вреднаго вліянія на общество періодическихъ изданій. Въ виду этого, въ 1836-мъ году даже издано было распоряженіе, воспрещавшее появленіе новыхъ газетъ и журналовъ. Что касается до уже существовавшихъ, то многіе изъ нихъ принуждены были прекратиться. Результатъ такого положенія литературы не замедлилъ сказаться какъ на количественномъ уменьшеніи вновь выходившихъ книгъ, такъ и на пониженіи литературнаго вкуса читателей. Въ четырехлѣтіе съ 1833-го по 1837-й годъ было издано въ Россіи 51828 книгъ, а черезъ десятилѣтіе, въ періодъ съ 1843-го

по 1847-й—только 45793 книги; особенно уменьшилось количество поэтических произведений, сочинений по теории словесности и искусств, истории, а больше всего по философии и естествознанию, так как эти науки считались наиболее способными внушать ложные идеи. Насколько понизились литературные интересы читателей, можно судить по тому, что когда в 1841-м году вышли из печати 9, 10 и 11 томы сочинений Пушкина, где впервые появились „Медный всадник“, „Русалка“, „Арап Петра Великого“ и множество лирических стихотворений, они совершенно не заинтересовали общества, так что 5000 экземпляров продавались в течение 10 лет. Зато громадным успехом пользовались произведения таких писателей, как Булгарин, Кукольник и др., лишенных вовсе истинного поэтического таланта и умевших только угадать грубые вкусы толпы.

Крайней степени достигло это реакционное течение, охватившее русскую жизнь, в последнее семилетие указанного периода, начиная с 1848-го года. Боязнь вредных идей перешла в боязнь мысли вообще, страх перед наукой, просвещением. Преподавание философии было исключено из университетского курса. Дух свободного исследования, без которого не может развиваться никакая наука, всеми мерами преследовался в русских ученых. Положение литературы сделалось еще более тягостным, чем в предыдущие годы. Во всем готовы были видеть вредное направление мысли, недоброжелательство к господствовавшему строю.

Прежние меры, связавшие русское печатное слово по рукам и ногам, казались все еще недостаточными. И вот возникает новое грозное судилище для печати, знаменитый комитет 2-го апреля 1848 года, известный под именем Бутурлинского, просуществовавший до конца 1855-го года. Известный историк Николаевской эпохи Шильдер так характеризует деятельность этого комитета: „таким образом, образовалась у нас двойная цензура в 1848 году: предварительная, в лице обыкновенных цензоров, просматривавшая до печати, и выскательная, или карательная, подвергавшая своему разсмотрению только уже напечатанное и привлекавшая, с утверждения и именем Государя, к ответственности, как цензоров, так и авторов за все, что признавали предосудительным или противным видам правительства. Спрашивается, каким образом могла существовать при таких условиях какая бы то ни было печать?“ Действительно, дальше идти было некуда. Этот период недаром получил название эпохи цензурного террора: отдельные цензоры, чувствуя над собою дремлющее око Бутурлинского комитета, боясь высканей за малейшую оплошность, в своем усердии истребить зловредные мысли доходили до чрезвычайных нелюбостей. Факты, сообщаемые современниками об этой эпохе цензурных гонений, представляются прямо невероятными, но ими нельзя не верить, ибо сведения о них идут из вполне достоверных источников. Вот что, например, рассказывает в своем „Дневнике“ профессор петербургского университета и цензор Никитенко. „Действия цензуры превосходят всякое воображение. Чего этим хотят достигнуть? Остановить деятельность мысли? Но ведь, это все равно, что велеть реке течь обратно. Вот из тысячи фактов некоторые самые свежие. Цензор Ахматов остановил печатание одной арифметики, потому что между цифрами какой-то задачи там помещен ряд точек. Он подозревает здесь какой-то умысел составителя арифметики... Цензор Елагин не пропустил в одной географической статье места, где говорится, что в Сиби-

ри взять на собакахъ. Онъ мотивировалъ свое запрещеніе необходимостью, чтобы это извѣстіе предварительно получило подтвержденіе со стороны министерства внутреннихъ дѣлъ... Цензоръ Мехелинъ вымариваетъ изъ древней исторіи имена всѣхъ великихъ людей, которые сражались за свободу отечества или были республиканскаго образа мыслей—въ республикахъ Греціи и Рима. Вымариваются не разсужденія, а просто имена и факты. Такой ужасъ навелъ на цензоровъ Бутурлинъ съ братіей“. Приведенные факты говорятъ сами за себя и достаточно характеризуютъ тѣ мѣры, которыми тогда пытались ограбить русскую жизнь отъ признаваемыхъ гибельными идей, идущихъ къ намъ съ Запада.

Въ противовѣсъ имъ были выдвинуты считаемыя истинно русскими начала, на которыхъ должна была основываться вся государственная и общественная жизнь; эти начала были положены въ основу воспитанія юношества, литература и наука обязаны были, подѣ страхомъ смерти, поддерживать и развивать ихъ. Что-же это были за начала?

По удачному опредѣленію академика А. Н. Пыпина, это была теорія „официальной народности“, основныя положенія которой давно проглядывали во мнѣніяхъ русской консервативной партіи и нашли себѣ систематическій сводъ въ извѣстной запискѣ Карамзина о древней и новой Россіи. Сущность ея сводилась къ слѣдующему. Россія и по характеру своего населенія, и по историческому прошлому, на основѣ котораго выработались формы ея государственнаго, общественнаго и семейнаго быта, рѣзко отличается отъ Западной Европы. Ей удалось пронести незыблемыми черезъ рядъ вѣковъ преданія старины и потому, будучи предохранена отъ ложныхъ увлеченій конституціонными миражами, „она не можетъ сочувствовать либеральнымъ стремленіямъ, какія обнаруживаются и даже находятъ снисхожденіе правительствъ въ разныхъ государствахъ Европы, и не можетъ не поддерживать, съ своей стороны, принципа чистой монархіи“. Что касается до формъ внутренняго быта, то и здѣсь, согласно этой теоріи, замѣчается громадное отличіе западно-европейскихъ государствъ отъ Россіи, въ которой есть свои патріархальныя добродѣтели, невѣдомыя Западу. „Таково, прежде всего, народное благочестіе, полное довѣріе народа къ преобладающимъ властямъ и непрекословное повиновеніе; такова простота нравовъ и потребностей, не избалованныхъ роскошью и не нуждающихся въ ней“. Самое крѣпкое право заключаетъ въ себѣ, по мнѣнію сторонниковъ официальной народности, много благотворнаго для народа, положеніе котораго подѣ властью помѣщиковъ куда лучше положенія западно-европейскаго рабочаго класса. Правда, Россія отстала отъ Запада въ развитіи науки, просвѣщенія народныхъ массъ, но зато, благодаря бдительности цензуры, мы не знаемъ „извращенныхъ умствованій западныхъ вольнодумцевъ, тѣхъ необузданныхъ ученій, которыя нарушаютъ въ Европѣ общественное спокойствіе и наполняютъ умы ложными теоріями и неуваженіемъ къ власти и порядку“. Оттого между народомъ и властью царитъ полное единеніе; мѣропріятія мудраго правительства, какъ нельзя болѣе, отвѣчаютъ потребностямъ опекаемаго имъ народа. Россія благоденствуетъ и процвѣтаетъ и во много разъ счастливѣе и могущественнѣе во всѣхъ отношеніяхъ своихъ западныхъ сосѣдей (Срав. Пыпинъ. Характеристики литературныхъ мнѣній съ 20-хъ до 50-хъ годовъ, с. 113—115).

Эта теорія, такъ блестяще доказавшая свою полную несостоятельность въ эпоху Крымской войны и едва не приведшая Россію на край гибели, въ 40-е годы была очень усердно распространяема представителями официальной Россіи и, благодаря этому, стала, можно сказать, господствующимъ общественнымъ настроеніемъ.

Есть одинъ литературный памятникъ, основные мотивы котораго, несомнѣнно, навѣяны только что охарактеризованной теоріей официальной народности, и который поэтому является прекраснымъ документомъ, иллюстрирующимъ преобладавшія настроенія эпохи. Это—надблввшія столько шуму при своемъ появленіи въ свѣтъ пресловутыя „Выборныя мѣста изъ переписки съ друзьями“. Гоголь, тотъ самый Гоголь, который своими бессмертными „Ревизоромъ“ и „Мертвыми душами“, быть можетъ, какъ никто, содѣйствовалъ развитію критическаго отношенія къ окружающей русской дѣйствительности, при отсутствіи широкаго умственного развитія и кругозора, не шелъ въ своихъ теоретическихъ понятіяхъ дальше обиходнаго консерватизма, столь усердно всѣми средствами поддерживаемаго правительствомъ, и въ своей странной книгѣ оказался самымъ горячимъ сторонникомъ современнаго ему общественно-государственнаго строя Россіи. Ему въ голову не приходила мысль о необходимости измѣненія правительственныхъ учреждений, сословныхъ отношеній крестьянъ и помѣщиковъ, установившихся формъ личнаго и общественнаго безправія. Все то, что было создано правительственной властью, все это, съ точки зрѣнія Гоголя, не заставляло желать ничего лучшаго. Вся бѣда въ исполнителяхъ: законы святы, да исполнители лихіе супостаты!

Если такой могучій талантъ, какъ Гоголь, которому больше, чѣмъ кому-нибудь другому, дано было узрѣть и выставить на всенародныя очи всю современную пошлость пошлаго челоуѣка, не могъ не заразиться тлетворнымъ духомъ реакціи, то что-же говорить о другихъ, заурядныхъ людяхъ. Въ такіе печальные періоды жизни наступаютъ сумерки общественнаго сознанія, а для большинства и глубокая ночь.

Такъ было и въ это время, особенно съ конца сороковыхъ годовъ. Общественная масса, и безъ того стоявшая на невысокомъ уровнѣ культуры, погрузилась въ полную духовную спячку, жила одними грубо-матеріальными интересами. Лучшіе люди изнывали въ этомъ гнетущемъ душу мракѣ. Тяжелое бремя реакціи, зорко слѣдившей за тѣмъ, чтобы никто не пытался тѣмъ или инымъ способомъ вліять на общественную жизнь внѣ правительственныхъ предначертаній, отрѣзало всѣ пути самой скромной общественной дѣятельности, заставило замкнуться въ личномъ внутреннемъ мирѣ, на него обращать всю силу аналитической мысли. „У насъ, русскихъ, нѣтъ другой жизненной задачи, какъ переработка нашей личности“, говоритъ одинъ изъ Тургеневскихъ героевъ. Какъ ближайшее слѣдствіе этой „разработки личности“, является чрезмѣрно развитая рефлексія, самоанализъ, убивающій всякую энергію, парализующій малѣйшее проявленіе самобытной дѣятельности. Такъ оно и было у насъ въ 40-е и первую половину 50-хъ годовъ. „Отличительная черта нашей эпохи, — говоритъ одинъ изъ современниковъ, — есть grübeln (копаться въ себѣ). Мы не хотимъ шага сдѣлать, не выразумѣвъ его, мы безпрестанно останавливаемся, какъ Гамлетъ, и думаемъ, думаемъ“... Если къ этому прибавить, что у большинства

представителей тогдашняго образованнаго дворянскаго класса нашего общества вовсе не была развита „благородная привычка къ труду“, вследствие возможности пользоваться даровой крестьянской работой, то вполне будет понятна неспособность представителей этого поколѣнія къ дѣятельности даже самой скромной, носящей хотя бы чисто личный характер. Однако въ чемъ же проявляли себя энергія, творческая сила мысли и чувства, потребность къ дѣятельности, присущія наиболѣе даровитымъ представителямъ всякаго поколѣнія? Пищу для ума давала нѣмецкая идеалистическая философія, главнымъ образомъ, Гегель, энергія, до извѣстной степени, разряжалась цѣлыми потоками краснорѣчія, а чувство находило себѣ выходъ въ поклоненіи искусству и затѣмъ, въ гораздо еще большей степени, въ погонѣ за любовными наслажденіями, до которыхъ люди сороковыхъ годовъ были большіе охотники.

Типичнымъ представителемъ человѣка, заѣденнаго рефлексіей, является у Тургенева герой разсказа „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“, а также Чулкатуринъ, отъ имени котораго ведется „Дневникъ лишняго человѣка“. Отличительной чертой перваго служить, при недюжинномъ умѣ, способномъ ясно подмѣчать несообразности окружающей жизни, не въ мѣру развитой самоанализъ, который подрѣзалъ крылья его воли, внушилъ ему мысль о полномъ ничтожествѣ собственной особы. Его удручаетъ сознаніе отсутствія всякой оригинальности, самобытности. „Я именно и гибну оттого, что во мнѣ рѣшительно нѣтъ ничего оригинальнаго. Что мнѣ въ томъ,—продолжаетъ онъ, говоря далѣе о себѣ во второмъ лицѣ,—что мнѣ въ томъ, что у тебя голова велика и умѣстительна, и что понимаешь ты все, много знаешь, за вѣкомъ слѣдишь,—да всего-то, особеннаго, собственнаго у тебя ничего нѣту!“ Оглядываясь на прошлое, онъ видитъ въ немъ однѣ ошибки и заблужденія: дѣтство прошло „глупо и вяло, словно подъ периной“, учился, влюбился и женился, наконецъ, словно не по собственной охотѣ, словно исполняя какой-то не то долгъ, не то урокъ“, такъ-же безцѣльно, безъ глубокихъ внутреннихъ побужденій, изучалъ философію Гегеля, которая не имѣетъ рѣшительно ничего общаго съ русской жизнью. „Такъ зачѣмъ же ты таскался за границу? Зачѣмъ не сидѣлъ дома да не изучалъ окружающей тебя жизни на мѣстѣ?“ восклицаетъ онъ, негодуя самъ на себя, и тутъ же даетъ отвѣтъ на свой вопросъ: „Да помилуйте... гдѣ же нашему брату изучать то, чего еще ни одинъ умница въ книгу не вписалъ! Я бы и радъ брать у нея уроки, у русской жизни-то, да молчитъ она, моя голубушка-то. Пойми меня, дескать, такъ, а мнѣ это не подъ силу, мнѣ вы подайте выводъ, заключеніе мнѣ представьте!“ Въ этихъ словахъ Щигровскаго Гамлета заключается указаніе на другую его особенность: неумѣніе разобраться въ практической жизни, неподготовленность къ ней. Такимъ образомъ, въ лицѣ героя Гамлета Щигровскаго уѣзда, передъ нами заѣденный самоанализомъ человѣкъ, который до такой степени привыкъ заниматься самобичеваніемъ, что въ этомъ находитъ своеобразное наслажденіе и совершенно неспособенъ къ какому бы то ни было дѣлу. Онъ въ полномъ смыслѣ слова „лишній человѣкъ“, какъ и Чулкатуринъ, герой повѣсти: „Дневникъ лишняго человѣка“. Незадолго до смерти Чулкатуринъ начинаетъ писать дневникъ и такъ характеризуетъ себя: „Про меня ничего другаго и сказать нельзя: лишній—да и только. Сверхштатный человѣкъ—вотъ и все“. Оказывается, въ теченіе всей своей

жизни онъ не находилъ своего мѣста: всегда оно было кѣмъ-нибудь занято. Происходило это, по его же собственному объясненію, оттого, что онъ постоянно уходилъ въ себя, „разбиралъ себя до послѣдней ниточки... Цѣлые дни проходили въ этой мучительной, бесплодной работѣ“. И вотъ вся жизнь прошла безслѣдно, не оставивъ ни одного свѣтлаго воспоминанія; она такъ мучительна для этого „лишняго“, „сверхштатнаго“, человѣка, что онъ радъ умереть, радъ „отдѣлаться, наконецъ, отъ томящаго сознанія жизни, отъ неотвязнаго и безпокойнаго чувства существованія“. И тутъ, какъ у Щигровскаго Гамлета, тотъ же убивающій живую душу самоанализъ, неспособность найти въ жизни свою точку, неумѣніе взяться хоть за какое-нибудь дѣло. Въмѣстѣ съ тѣмъ у Чулкатурина выдвигается еще одна характерная черта людей его поколѣнія: въ его жизни неудачная любовь играетъ роковую роль; подводя итоги своему существованію, онъ почти только говоритъ о ней,—очевидно, это самое сильное впечатлѣніе, какое дала ему жизнь.

Въ лицѣ Гамлета Щигровскаго уѣзда и Чулкатурина Тургеневъ сдѣлалъ первую попытку возсоздать въ художественныхъ образахъ наиболѣе характерныя черты своего поколѣнія. Насколько удачно были схвачены эти черты и соотвѣтствовали дѣйствительности, можно судить уже по одному тому, что, несмотря на сравнительную бѣдность содержанія только что разсмотрѣнныхъ произведеній и нѣкоторую односторонность въ обрисовкѣ дѣйствующихъ лицъ, клички „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“ и особенно „лишний человѣкъ“ стали ходячими не только въ примѣненіи къ поколѣнію людей сороковыхъ годовъ, но и къ многочисленному общественному и литературному ихъ потомству.

Гораздо полнѣе и разностороннѣе изображенъ типъ „лишняго человѣка“ 40-хъ годовъ въ лицѣ Рудина въ романѣ того же имени, появившемся въ печати въ началѣ 1856-го года.

Рудинъ.

Образъ Рудина вызвалъ самыя разнорѣчивыя толки. Нѣкоторые представители критики 60-хъ годовъ ставили его очень низко, видя въ немъ полную неспособность измѣнить къ лучшему даже способности своего домашняго быта. Вся его жизнь, по словамъ Писарева, не что иное, какъ длинный рядъ самообольщеній, разочарованій, мыльныхъ пузырей и миражей. Это обеспеченный тунеядецъ, жалкій продуктъ русскаго барства. На ряду съ подобными отзывами въ статьяхъ, посвященныхъ анализу Рудина, встрѣчается и очень сочувственное, чуть не восторженное отношеніе къ нему.

Такое же разнорѣчіе замѣчается и въ опредѣленіи критиками отношенія Тургенева къ своему герою. По мнѣнію Писарева, Тургеневъ ясно и открыто становится въ положеніе обвинителя людей рудинскаго типа; онъ безощадно разоблачаетъ ихъ мнимое обаяніе и красивую пошлость. Совсѣмъ иначе смотритъ на отношеніе автора къ Рудину другой извѣстный критикъ-публицистъ Шелгуновъ, ставящій ему въ вину сочувствіе къ Рудинимъ.

Эти диаметрально противоположныя сужденія выдающихся критиковъ о личности Рудина, а главное, объ отношеніи къ нему автора, показываютъ, что не такъ-то легко разобрать въ этомъ образѣ. Дѣйствительно, онъ какъ то двоится въ сознаніи читателя; передъ нами то обычный фразеръ, щеголяющій умѣніемъ красно говорить на возвышенныя темы, человекъ съ холодной душой и только прикидывающійся пламеннымъ, актеръ, „кокетка“, по выраженію Лежнева, то идеалистъ чистой воды, полный благородныхъ мыслей, но слишкомъ неприспособленный къ условіямъ окружающей его среды и обстановки. То же самое приходится сказать и относительно взгляда на него самого автора, насколько онъ отразился въ рѣчахъ прочихъ дѣйствующихъ лицъ, высказывающихъ свое мнѣніе о немъ, и въ отдѣльныхъ пояснительныхъ замѣчаніяхъ. Намъ необходимо разобрать въ этихъ странныхъ противорѣчіяхъ, ибо иначе невозможно понять должнымъ образомъ Рудина. Начнемъ со второго.

Было нѣсколько попытокъ разяснить причину двойственнаго отношенія Тургенева къ Рудину, которое особенно ярко бросается въ глаза, если принять во вниманіе совершенно различныя по своему характеру отзывы о немъ Лежнева въ первой и во второй половинѣ романа. По мнѣнію однихъ, эта двойственность объясняется симпатіей автора къ людямъ сороковыхъ годовъ вообще при крайней антипатіи къ одному изъ нихъ, М. Б., который будто бы послужилъ прототипомъ для Рудина. Но это объясненіе не можетъ быть принято уже потому одному, что М. Б. далеко не отличался всѣми тѣми недостатками, которые приписалъ Тургеневъ Рудину въ первой половинѣ романа.

Другіе находятъ, что рѣшеніе загадки слѣдуетъ искать въ нравственномъ и творческомъ мірѣ самого автора. Въ лицѣ Рудина, говоритъ г. Ивановъ, авторъ названнаго выше изслѣдованія о творчествѣ нашего автора, Тургеневъ совершаетъ надъ собою тотъ самый судъ художника, къ которому неоднократно прибѣгаютъ великіе писатели. Желая истребить въ себѣ тѣ или другіе недостатки, они нерѣдко надѣляются ими своихъ героевъ и, такимъ образомъ, держатъ надъ собою неліцемерный судъ. Дѣйствительно, указанный сейчасъ мотивъ къ творчеству не разъ былъ источникомъ созданія художественныхъ поэтическихъ образовъ, но такая гипотеза едва-ли можетъ быть принята относительно Тургенева, прежде всего потому, что онъ по существу своего таланта, какъ было указано выше,—объективный писатель, а приписываніе авторомъ въ значительномъ количествѣ своихъ личныхъ чертъ тому или иному изъ дѣйствующихъ лицъ присуще писателямъ, отличающимся способностью, главнымъ образомъ, субъективнаго творчества. Да и кромѣ того, если даже предположить на время возможность подобнаго рода субъективизма со стороны автора „Рудина“, въ нашемъ распоряженіи слишкомъ мало біографическихъ данныхъ, чтобы съ достаточной полнотой обосновать сдѣланное предположеніе.

Наиболѣе вѣроятнымъ представляется взглядъ на Рудина, какъ на такой литературный образъ, въ которомъ объединились не одинъ, а цѣлыхъ два характера. Это станетъ яснымъ, если вспомнить одно очень обычное явленіе, съ которымъ однако до сихъ поръ многіе не могутъ свыкнуться и вслѣдствіе этого часто отождествляютъ лица и вещи совершенно различнаго порядка. Почти всегда рядомъ съ людьми, проникнутыми возвышенными, свѣтлыми идеалами и глубокой вѣрой въ нихъ, появляются ничтожныя, мелкія личности, на лету схватывающія декоративную

сторону новаго направленія и съ большимъ или меньшимъ искусствомъ драпирующіяся въ нее. Такъ было и въ сороковые годы. На ряду съ благороднѣйшими представителями этой эпохи, какими были люди близкіе къ Тургеневу, какъ Вѣлинскій, Станкевичъ, Аксаковы и мн. др., появились лица, какъ будто и похожія на нихъ, но далекія отъ нихъ по сущности своей духовной природы. Это каррикатурное отраженіе дорогого Тургеневу общественнаго движенія и встрѣтило осужденіе въ образѣ Рудина въ первой половинѣ романа, и отсюда понятно отрицательное отношеніе къ нему автора. Но симпатія къ тому теченію въ родной жизни, которое нашло себѣ хоть и каррикатурное, но все же, до извѣстной степени, близкое къ дѣйствительности отраженіе въ Рудинѣ первой половины романа, заставила Тургенева безсознательно затушевать тѣ отрицательныя стороны, которыя онъ вначалѣ такъ открыто выставлялъ, и дописать Рудина, какъ типичнаго представителя лучшихъ людей 40-хъ годовъ. Вотъ почему въ художественномъ отношеніи образъ Рудина не можетъ быть поставленъ высоко, ибо въ немъ нѣтъ единства поэтическаго замысла. Этого рода недостатокъ вполне понятенъ въ творчествѣ даже такого большого таланта, какъ Тургеневъ: вѣдь, Рудинъ—первый характеръ, который авторъ попытался подвергнуть полной разработкѣ, а создать впервые законченный характеръ—дѣло далеко не легкое и для первокласснаго писателя; вспомнимъ хотя бы неудачный образъ плѣннаго русскаго офицера въ поэмѣ: „Кавказскій плѣнникъ“, первый характеръ, съ которымъ Пушкинъ, по его собственному призванію, насилу сладилъ. Но художественные недочеты въ образѣ Рудина даютъ возможность, путемъ тщательнаго анализа, одновременно составить себѣ понятіе о двухъ разновидностяхъ въ поколѣнннхъ людей сороковыхъ годовъ. Мы остановимся только на тѣхъ чертахъ Рудина, которыя являются характерными для лучшихъ представителей разсматриваемаго нами поколѣнія.

Въ чемъ заключается сущность мировоззрѣнія Рудина? Нѣкоторыя черты его не трудно опредѣлить—авторъ заставляеть своего героя, при первомъ же знакомствѣ съ нимъ читателя, въ горячей, вдохновенной рѣчи изложить основныя положенія его. Вотъ они: „Людямъ нужна вѣра... въ самыхъ себя, въ свои силы. Имъ нельзя жить одними впечатлѣніями, имъ грѣшно бояться мысли и не довѣрять ей. Скептицизмъ всегда отличался бесплодностью и безсиліемъ... Если у человѣка нѣтъ крѣпкаго начала, въ которое онъ вѣритъ, нѣтъ почвы, на которой онъ стоитъ твердо, какъ можетъ онъ дать себѣ отчетъ въ подробностяхъ, въ значеніи, въ будущности своего народа, какъ можетъ онъ знать, что онъ самъ долженъ дѣлать“... Это тѣ самыя настроенія, которыя были обычными въ кружкѣ Станкевича, и отзвуки которыхъ безъ труда можно отыскать въ сочиненіяхъ и особенно перепискѣ членовъ этого кружка. Тамъ они поддерживались и развивались нѣмецкой философской и поэтической мыслью, на выучку къ которой такъ охотно шла русская прогрессивная молодежь въ тридцатые и сороковые годы. И у Рудина они являются, повидимому, результатомъ тѣхъ же вліяній; по крайней мѣрѣ, онъ выступаетъ въ качествѣ бывшаго питомца германскихъ университетовъ и „весь погруженъ въ германскую поэзію, въ германскій романтическій и философскій міръ“.

Слѣдующей отличительной чертой Рудина, роднящей его съ поколѣніемъ сороковыхъ годовъ, является любовь къ общимъ отвлеченнымъ разсужденіямъ, къ рѣшенію принципиальныхъ вопросовъ. Не даромъ Рудинъ въ первый свой прїѣздъ къ

Ласунской, несмотря на просьбы рассказать что-либо о своей студенческой жизни, „скоро перешелъ къ общимъ разсужденіямъ о значеніи просвѣщенія и науки“.

Эти разсужденія выливаются у Рудина въ блестящей, чарующей словесной формѣ. „Не самодовольной изысканностью опытнаго говоруна—вдохновеніемъ дышала его нетерпѣливая импровизація. Онъ не искалъ словъ: они сами послушно и свободно приходили къ нему на уста, и каждое слово казалось, такъ и лилось прямо изъ души, пылало всѣмъ жаромъ убѣжденія. Рудинъ владѣлъ едва-ли не высшей тайной—музыкой краснорѣчія. Онъ умѣлъ, ударяя по однѣмъ струнамъ сердець, заставляя смутно звенѣть и дрожать другія. Иной слушатель, пожалуй, и не понималъ въ точности, о чемъ шла рѣчь; но грудь его высоко поднималась, какія-то завѣсы разверзались передъ его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди“. Въ такихъ словахъ характеризуетъ намъ Тургеневъ то обаяніе, какое имѣло краснорѣчіе Рудина на его слушателей. Въ самомъ романѣ мы находимъ какъ бы фактическое подтвержденіе этого: вспомнимъ Басистова и Наталью. Тургеневъ не даромъ надѣлилъ своего героя чарующей способностью блестяще владѣть живымъ словомъ: умѣние увлекательно говорить было типической чертой его поколѣнія. Способность эта вырабатывалась въ безконечныхъ дружескихъ спорахъ въ студенческихъ кружкахъ молодежи 30-хъ годовъ.

Кстати сказать, Тургеневъ, хотя и мимоходомъ, въ немногихъ словахъ далъ живую картину того, какое огромное значеніе имѣла кружковая жизнь для его членовъ, и этой вскользь брошенной подробностью прекрасно дополняетъ общую картину духовной жизни молодого поколѣнія тридцатыхъ годовъ. „Какъ вспомню я наши сходки,—разказываетъ Лежневъ,—ну, ей Богу-же, много въ нихъ было хорошаго, даже трогательнаго... Вы представьте: одна сальная свѣчка горитъ, чай подается прескверный и сухари къ нему старые-престарые; а посмотрѣли-бы вы на всѣ наши лица, послушали бы рѣчи наши! Въ глазахъ у cadaго восторгъ, и щеки пылаютъ, и сердце бьется, и говоримъ мы о Богѣ, о правдѣ, о будущности человѣчества, о поэзіи... А ночь летитъ тихо и плавно, какъ на крыльяхъ. Вотъ уже и утро сѣрѣетъ, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у насъ и въ поминѣ тогда не было), съ какой то пріятной усталостью на душѣ... И даже на звѣзды какъ то довѣрчиво глядишь, словно онѣ и ближе стали и понятнѣе“. Къ такому кружку принадлежалъ въ студенческіе годы въ Москвѣ и Рудинъ, и на эту подробность его поэтической біографіи нужно смотрѣть, какъ на типическую черту времени.

Но указанными свойствами Рудина далеко не исчерпывается его личность, какъ представителя нашей общественности въ сороковые годы. Какъ и Гамлетъ Штирновскаго уѣзда, онъ часто предается самообличеніямъ, осыпаетъ себя упреками. Эта черта является у него слѣдствіемъ сильно развитаго самоанализа, рефлексіи и проявляется неоднократно въ романѣ, но съ особенной силой въ его прощальномъ письмѣ къ Натальѣ и въ послѣдней бесѣдѣ съ Лежневымъ.

Обращаетъ также на себя вниманіе отношеніе Рудина къ любви. Оно очень характерно для него, какъ типическаго представителя своей эпохи. Два факта даютъ намъ матеріалъ для сужденія о взглядахъ Рудина на чувство: его роль въ сердечномъ увлеченіи Лежнева и исторія его отношеній къ Натальѣ. Влюбленный юноша-Лежневъ открываетъ свое чувство Рудину. Тотъ, говоритъ Лежневъ, „узнавъ о моей любви, пришелъ въ восторгъ неописанный; поздравилъ, обнялъ меня и тотъ-

часъ пустился вразумлять меня, толковать мнѣ всю важность моего новаго положенія!“ Результатомъ этихъ толкованій Рудина было то, что Лежневъ, по его же собственнымъ словамъ, даже ходить началъ осторожнѣе, точно у него въ груди находился сосудъ, полный драгоценной влаги, которую онъ боялся расплескать. Ясно, что Рудинъ былъ весь проникнутъ культомъ чувства любви и заразилъ имъ Лежнева. Этотъ культъ любовнаго чувства не покинулъ Рудина и въ зрѣлые годы. Когда онъ появляется передъ нами въ романѣ, ему около 35-ти лѣтъ, а между тѣмъ онъ такъ-же много думаетъ объ этомъ чувствѣ и ищетъ его: не даромъ онъ „охотно и часто говорилъ о любви“ и даже собирался писать о трагическомъ значеніи ея въ жизни и безъ всякихъ дурныхъ побужденій старался раздуть въ себѣ и въ Натальѣ это чувство; и не онъ виноватъ, если годы и, быть можетъ, темпераментъ были причиной того, что ему не удалось вызвать его въ себѣ во всей силѣ: онъ искренно хотѣлъ полюбить всей душой.

Намъ остается еще разсмотрѣть одну, наиболѣе ярко бросающуюся въ глаза въ Рудинѣ черту, очень характерную для его поколѣнія,—это разладъ между словомъ и дѣломъ, вѣрнѣе, неспособность къ практическому примѣненію въ жизни тѣхъ принциповъ, которые, повидимому, такъ ясно опредѣлились въ его сознаніи. Рудина часто упрекаютъ въ полномъ бездѣліи, въ непригодности къ какой бы то ни было дѣятельности вообще. Но это вѣрно только относительно Рудина первой половины романа, которая, какъ мы уже знаемъ, не можетъ безъ всякихъ ограниченій служить матеріаломъ для характеристики героя; вторая половина, наоборотъ, даетъ намъ опредѣленные свѣдѣнія о томъ, что Рудинъ неоднократно и очень настойчиво принимался за дѣло, имѣющее цѣлью не личныя, эгоистическія выгоды, а благо общественное. Сходится онъ, напримѣръ, съ однимъ богатымъ, но ограниченнымъ человекомъ, который вполне подпадаетъ подъ его влияніе. Онъ владѣлъ большими средствами,—„сколько можно было черезъ него сдѣлать добра, принести пользы существенной“, конечно, не для одного богача-помѣщика, но и для его крестьянъ. Но черезъ два года Рудинъ видитъ, что онъ опять обманулся въ своихъ ожиданіяхъ, и вотъ онъ не задумываясь бросаетъ теплый уголь и полную комфорта жизнь и „очутился опять легокъ и голъ въ пустомъ пространствѣ“. Послѣ этого новая попытка употребить свои силы на общее полезное дѣло. вмѣстѣ съ такимъ же мечтателемъ-идеалистомъ, какъ онъ самъ, Рудинъ, не имѣя почти вовсе средствъ, берется за чисто фантастическое дѣло—превратить одну рѣку въ судородную. Кончилось тѣмъ, что, послѣ тяжелой шестимѣсячной жизни въ землянкахъ впроголодь, Рудинъ послѣдній свой грошъ добилъ на этотъ проэктъ, ничего, конечно, не достигнувъ. Но и эта неудача не сломила Рудина. Онъ все стремится быть полезнымъ для другихъ, страстно ищетъ общественной дѣятельности—и останавливается на мысли сдѣлаться учителемъ, чтобы другимъ передать свои знанія, изъ которыхъ они, быть можетъ, извлекутъ хоть нѣкоторую пользу. Но и тутъ онъ потерпѣлъ поражение, потому что не сумѣлъ приспособиться къ обстоятельствамъ. Самая смерть Рудина на баррикадахъ 1848-го года въ Парижѣ показываетъ, что онъ до конца дней своихъ остался вѣренъ своему стремленію—отдать силы на общее дѣло.

Въ чемъ однако причины пораженія Рудина на поприщѣ его дѣятельности, его неумѣнія взяться за простое, жизненное дѣло? Ихъ, въ значительной степени,

нужно искать въ тѣхъ общественно-бытовыхъ условіяхъ, продуктомъ которыхъ явилась личность Рудина. Тургеневъ только мимоходомъ упоминаетъ о нихъ, и тѣмъ цѣннѣе эти упоминанія. Сюда относится, прежде всего, то, что мы узнаемъ изъ романа о дѣтствѣ Рудина. Его мать души въ немъ не чаяла и всѣ средства, какія у нея были, тратила на него. Такимъ образомъ, въ дѣтствѣ отъ Рудина, по всей вѣроятности, устранялись всякія заботы, все то, что могло сколько-нибудь омрачить дѣтскую душу, а такимъ въ то время считался, прежде всего, трудъ. Дальнѣйшее воспитаніе ведется на счетъ дяди, а потомъ онъ живетъ то на средства какого-то богатого князька, то какой-то барыни. Значить, и позднѣе, въ юности, ему не приходится, трудиться,—матеріально онъ обезпеченъ, а богатые природныя способности дѣлаютъ ненужнымъ даже малѣйшее усиліе при добываніи тѣхъ скромныхъ знаній, какія давались въ то время въ русскихъ университетахъ. Итакъ, Рудинъ растетъ на дарѣвыхъ хлѣбахъ, совершенно не приучаясь къ какому-бы то ни было труду, не вырабатывая въ себѣ навыка и умѣнья приняться за самую обыденную работу. Общій строй воспитанія той эпохи былъ таковъ, что онъ вовсе не имѣлъ въ виду развивать у молодежи способности трудиться. вмѣстѣ съ тѣмъ, воспитаніе это, какъ въ юные годы, такъ и позднѣе, когда молодежь самостоятельно, путемъ штурдированія нѣмецкой философской и поэтической мысли, заполняла пробѣлы въ своихъ знаніяхъ, было совершенно чуждо русской жизни, ея своеобразнаго уклада. И только немногимъ удавалось, благодаря особому складу характера или счастливой случайности, найти примѣненіе тѣмъ возвышеннымъ идеалистическимъ порывамъ, которыми были полны ихъ души. Большинство-же оставалось безъ почвы подъ ногами, „безъ руля и безъ вѣтриль“, въ качествѣ „лишнихъ людей“ слонялось по лицу родной земли, хватаясь то за одно, то за другое, ломая себя и, въ концѣ концовъ, погибая съ горькимъ сознаніемъ бесполезно прожитой жизни. Тургеневъ устами Лежнева вполне правильно замѣчаетъ, что „несчастье Рудина состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, и это, точно, большое несчастье. Но... это не вина Рудина, это его судьба, судьба горькая и тяжелая, за которую мы винить его не станемъ“.

Такъ самъ авторъ, говоря о дѣтствѣ и юности Рудина, даетъ читателю нѣкоторыя указанія, объясняющія основныя черты этого типа—отсутствіе глубокихъ знаній и неспособность къ дѣятельности, къ дѣлу, даже самому маленькому значительному или, вѣрнѣе говоря, прежде всего къ маленькому. Въ отсутствіи умѣнія взяться именно за маленькое жизненное дѣло, въ расходованіи энергіи на одни разговоры Тургеневъ и видитъ одну изъ причинъ несчастья Рудина. „Фраза меня стубила,—замѣчаетъ онъ въ послѣдней бесѣдѣ съ Лежневымъ,—она заѣла меня, я до конца не могъ отъ нея отдѣлаться... Слова, все слова, дѣлъ не было“, и на вопросъ Лежнева, что же онъ разумѣетъ подъ дѣлами, онъ добавляетъ: „слѣпую бабку и все ея семейство своими трудами прокормить, какъ, помнишь, Пряженцевъ... Вотъ тебѣ и дѣло“...

Такимъ образомъ, и Рудинъ со своимъ сильнымъ и яснымъ умомъ, блестящимъ краснорѣчіемъ, благородный, талантливый Рудинъ, казавшійся энтузіасту Басистову гениальной натурой, и онъ оказался, въ концѣ концовъ, „лишнимъ человѣкомъ“.

Но если онъ былъ таковымъ въ своихъ собственныхъ глазахъ, то въ иномъ свѣтѣ представляется онъ намъ, если посмотрѣть на него съ точки зрѣнія исторической перспективы. Онъ былъ необходимымъ звеномъ въ исторіи развитія русскаго общества, той силой, которая пробудила сонную русскую мысль, освѣжила ее притокомъ новыхъ, свѣтлыхъ идеаловъ, вывела изъ апатіи и застоя. Значеніе Рудина, какъ общественнаго дѣятеля своего времени, прекрасно опредѣляется въ романѣ слѣдующими словами Лежнева, устами котораго авторъ не разъ высказываетъ свою точку зрѣнія на него. „Въ немъ есть энтузіазмъ, а это... самое драгоценное качество въ наше время. Мы все стали невыносимо разсудительны, равнодушны и вялы; мы заснули, мы застыли, и спасибо тому, кто хоть на мигъ насъ расшевелить и согрѣетъ!... Онъ не сдѣлаетъ самъ ничего... но кто въ правѣ сказать, что онъ не принесетъ, не принесъ уже пользы, что его слова не заронили много добрыхъ сѣмянъ въ молодыя души, которымъ природа не отказала, какъ ему, въ силѣ дѣятельности, въ умѣнїи исполнять собственные замыслы?“

Мы разсмотрѣли типъ Рудина и его значеніе для русской жизни въ сороковые и первую половину пятидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія. Но этотъ образъ представляетъ интересъ не только потому, что онъ является передъ нами представителемъ опредѣленной эпохи русской жизни. Въ немъ мы находимъ также черты, свойственныя міровому культурно-историческому типу „человѣка слова“, встрѣчающемуся во все времена и у всехъ народовъ. Это общечеловѣческій типъ идеалиста, слишкомъ возвышающагося надъ современной дѣйствительностью, не приспособленнаго къ историческимъ и общественнымъ условіямъ своей эпохи. Такие люди всегда были, есть и будутъ во всякомъ обществѣ, если только оно способно къ дальнѣйшему развитію, и потому образъ Рудина представляетъ глубокий интересъ какъ для историка русскаго общества, такъ и потому, что отражаетъ въ себѣ черты общечеловѣческаго типа.

Лаврецкій.

Два года спустя послѣ появленія въ печати „Рудина“, въ 1858-мъ году, былъ напечатанъ второй большой романъ Тургенева: „Дворянское гнѣздо“, имѣвшій самый большой и вполне заслуженный успѣхъ, какой когда-либо выпадалъ на долю нашего автора. Какъ показываетъ самое заглавіе, романъ этотъ не столько имѣетъ въ виду дать обрисовку отдѣльнаго характера, сколько преслѣдуетъ другую цѣль — изобразить общую картину жизни русскаго дворянства. Это, какъ выразился Аполлонъ Григорьевъ, „огромный холстъ, натянутый для огромной исторической картины“. Дѣйствительно, передъ нами здѣсь отразилась жизнь нѣсколькихъ поколѣній русскаго провинціальнаго дворянства, но все же главное мѣсто въ этой картинѣ принадлежитъ типамъ, взятымъ изъ той же эпохи, представителемъ которыхъ былъ и разсмотрѣнный только что Рудинъ. Такимъ типомъ въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ является, прежде всего, Федоръ Ивановичъ Лаврецкій.

Необходимо однако оговориться, что хотя Лаврецкій и принадлежитъ къ тому самому періоду русской жизни, какъ и Рудинъ, однако въ складѣ его жизни

и личности мы будем видеть черты, какъ будто совсѣмъ отличныя отъ тѣхъ, какія указывались выше при анализѣ образа Рудина. Въ этомъ нѣтъ ничего необычайнаго. Какъ ни однообразна была дореформенная жизнь нашей дворянской среды, все же, при ближайшемъ разсмотрѣніи ея, въ ней замѣчались различнаго рода обособленныя теченія. Тѣмъ не менѣе, въ общемъ, эти теченія въ значительной степени давали одинаковые результаты, потому что вся жизнь носила очень замѣтный отпечатокъ единого дореформеннаго строя, приводившаго къ одному знаменателю всѣ разновидности въ типахъ и настроеніяхъ, какія создавались при нѣскольکو видоизмѣненныхъ формахъ личнаго существованія.

Говоря о своемъ героѣ, Тургеневъ приводитъ длинную его родословную и въ сжатыхъ чертахъ рисуетъ образы его прадѣда, дѣда и отца. Такимъ образомъ, передъ нами четыре поколѣнія одной и той же семьи, цѣлое „дворянское гнѣздо“. Образы предковъ Федора Лаврецкаго даютъ богатый матеріалъ для характеристики русскаго провинціального дворянства второй половины XVIII и начала XIX вв. и служатъ прекрасными иллюстраціями къ тѣмъ цѣльнымъ натурамъ помѣщичьей среды, которыя были знакомы читателямъ Тургенева по нѣкоторымъ рассказамъ изъ „Записокъ охотника“ (напр. „Однодворецъ Овсяниковъ“ и др.). Мы не будемъ однако останавливаться на нихъ и сосредоточимъ свое вниманіе на послѣднемъ представителѣ древняго дворянскаго рода.

Тургеневъ довольно подробно рассказываетъ о воспитаніи Федора Лаврецкаго. Это воспитаніе, въ своихъ основныхъ чертахъ, можетъ считаться типическимъ для нѣкоторой части русскаго дворянства 30-хъ и 40-хъ годовъ.

Характерной чертой этого воспитанія является полное духовное одиночество мальчика, отсутствіе любви и ласки къ нему у окружающихъ людей, совершенное игнорированіе духовныхъ его особенностей, стремленіе подчинить его личность посторонней волѣ, поработить его. Въ раннемъ еще дѣтствѣ былъ отторгнутъ Лаврецкій отъ нѣжно любившей его матери, простой крестьянки, на которой сторжача женился его отецъ. Тетка Глафира, черствое, холодное существо, почти не допускала матери къ мальчику подъ тѣмъ предлогомъ, что она не въ состояніи заниматься его воспитаніемъ. Однако ребенокъ успѣлъ безумно полюбить ее; память о ней навѣки запечатлѣлась въ его сердцѣ, „но онъ смутно понималъ ея положеніе въ домѣ; онъ чувствовалъ, что между нимъ и нею существовала преграда, которую она не смѣла и не могла разрушить“. Такимъ образомъ, съ первыхъ же шаговъ своей сознательной жизни ребенокъ чувствовалъ гнетъ какой-то посторонней силы, противъ которой не могло противостоять самое близкое, самое дорогое существо. Удручающимъ образомъ должно было дѣйствовать это сознаніе, подавляя его волю, энергію. На восьмомъ году лишился Лаврецкій матери, и тетка окончательно забрала его въ руки. „Федя боялся ея, боялся ея свѣтлыхъ и зоркихъ глазъ, ея рѣзкаго голоса; онъ не смѣлъ пикнуть при ней; бывало, онъ только зашевелится на своемъ стулѣ, ужъ она и шипитъ: „куда? сиди смирно“. Вскорѣ для обученія его языкамъ и музыкѣ была приглашена старая шведка „съ заячьими глазами“. Въ обществѣ этихъ двухъ старухъ да старой сѣнной дѣвушки Васильевны провелъ Федя четыре года своей жизни послѣ смерти матери. Не было никого возлѣ заброшеннаго, одинокаго мальчика, кто съ сердечной лаской отнесся бы къ нему, кто подумалъ бы о томъ,

какія мысли шевелятся въ его головкѣ, кто далъ бы необходимый просторъ для развитія его духовныхъ силъ. Не удивительно, что онъ никого не полюбилъ изъ окружавшихъ его лицъ. Но вотъ пріѣхалъ изъ-за границы отецъ Лаврецкаго, весь проникнутый англоманствомъ, и, не теряя времени, принялся за воспитаніе сына, желая изъ него сдѣлать „человѣка и спартанца“. Мѣсто шведки занялъ молодой швейцарецъ, въ совершенствѣ изучившій гимнастику. Физическое воспитаніе выступило на первый планъ. вмѣстѣ съ тѣмъ мальчикъ долженъ былъ изучать естественныя науки, международное право, математику, столярное ремесло, по совѣту Ж. Ж. Руссо, и геральдику для поддержанія рыцарскихъ чувствъ. Итакъ, двѣнадцатилѣтняго мальчика, не считаясь съ его природными задатками, отдають въ распоряженіе новой воспитательной системы. Не удивительно, что „система сбила съ толку мальчика, поселила путаницу въ его головѣ, притиснула ее“. Когда ему исполнилось шестнадцать лѣтъ, предусмотрительный отецъ сталъ развивать въ немъ презрѣніе къ женщинамъ, и „молодой спартанецъ уже старался казаться равнодушнымъ, холоднымъ и грубымъ“.

Таково было воспитаніе Федора Лаврецкаго. Единственно, что положительнаго дало оно ему, такъ это только физическое здоровье. Что касается до его внутренняго міра, то и вліяніе тетки Глафиры и „система“ только тормазили естественный ходъ развитія душевныхъ силъ, „вывихнули“ его, какъ онъ самъ мѣтко говоритъ о себѣ, парализовали его волю, съ ранняго дѣтства оторвали отъ родной жизни, которая не доходила до него ни въ покояхъ Глафиры, ни подъ вліяніемъ англоманотца*). Съ восемнадцати лѣтъ, несмотря на придавленность и путаницу, поселенную въ головѣ „системой“, начинаетъ Лаврецкій постепенно высвобождаться изъ подъ гнета давившей его руки. Мало по малу понялъ онъ всю идейную несостоятельность своего отца и крупныя пробѣлы своего воспитанія и рѣшилъ, во что бы то ни стало, наверстать упущенное. А упущено было многое. Безалаберное воспитаніе принесло свои плоды. Много разрозненныхъ идей бродило у него въ головѣ, въ нѣкоторыхъ вопросахъ онъ былъ свѣдущъ не хуже любого специалиста, но наряду съ этимъ не зналъ многого такого, что извѣстно каждому гимназисту. Полный безсознательной жажды общенія съ людьми и любви, онъ неумѣлъ сходитьсь съ ними, боялся женщинъ; „при его умѣ ясномъ и здоровомъ, но нѣсколько тяжеломъ, при его наклонности къ упрямству, созерцанію и лѣни, ему-бы слѣдовало съ раннихъ лѣтъ попасть въ жизненный водоворотъ, а его поддержали въ искусственномъ уединеніи“.

И вотъ „вывихнутый человѣкъ“ пытается выправить себя. Онъ начинаетъ съ того, что поступаетъ въ университетъ съ цѣлью пополнить свои знанія. Къ этому времени уже ясно опредѣляются нѣкоторыя его черты. Прежде всего его отношеніе къ любви. „Горе сердцу, не любившему смолоду“, говоритъ Тургеневъ по поводу равнодушія Лаврецкаго къ окружавшимъ его въ дѣтствѣ лицамъ. Сугубое горе, скажемъ, мы, тому, у кого, какъ у Лаврецкаго, душа полна потребности привязаться къ кому-либо, — не даромъ онъ такъ горячо полюбилъ въ раннемъ дѣтствѣ свою мать. Это благородное свойство души, не находя себѣ долго нищ, все растетъ и

*) Все это типичныя послѣдствія русскаго воспитанія провинціальнаго дворянства въ первую четверть XIX-го вѣка; воспитаніе это носило иногда другой характеръ, чѣмъ то, какое изобразилъ Тургеневъ, но оно было аналогично съ нимъ по послѣдствіямъ.

растетъ и потомъ, въ концѣ концовъ, изливается со всею мощью часто на недостойнаго человѣка. Такъ и случилось съ Лаврецкимъ. Потребность любви къ существу другого пола, такъ настойчиво подавляемая въ немъ въ юности отцовскою системою воспитанія, надо думать, сильно заговорила въ немъ, когда онъ началъ освобождаться изъ подъ ея вліянія. Наступаетъ совершенно естественная реакція: то что раньше, подъ давленіемъ отцовскихъ внушеній, презиралось и тщательно подавлялось, теперь чуть-ли не возводится въ культъ, благо сама природа мощно требуетъ этого. Отсюда-то жажда любви, преклоненіе предъ ея властью. Въ такомъ видѣ мы представляемъ себѣ перемѣну въ настроеніи Лаврецкаго относительно чувства любви. Тургеневъ не рассказываетъ намъ этого,—въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ онъ болѣе, чѣмъ гдѣ либо скушъ на психологическій анализъ; но такой выводъ безъ особаго труда можно сдѣлать на основаніи тѣхъ данныхъ, какія даетъ намъ романъ.

Такимъ образомъ, у Лаврецкаго мы находимъ еще одну черту, характерную для поколѣнія 40-хъ годовъ, противъ которой впоследствии такъ вооружается Базаровъ,—это культъ любовнаго чувства, признаніе за нимъ первенствующаго значенія въ жизни. Любовь играетъ рѣшающее значеніе въ его судьбѣ, и въ этомъ отношеніи онъ очень сродни герою „Дневника лишняго человѣка“. Самъ Лаврецкій очень хорошо понимаетъ роковую роль для себя этого чувства, когда говоритъ: „на женскую любовь ушли мои лучшіе годы“, имѣя въ виду свой несчастный бракъ съ Варварой Павловной. Новая любовь, когда онъ сближается съ Лизой, возрождаетъ все его существо, но стоило ему только потерпѣть и здѣсь неудачу, какъ онъ считаетъ всю свою жизнь разбитой и самъ читаетъ себѣ отходную въ концѣ романа. Такъ что вполне справедливо замѣчаніе одного критика о томъ, что сердечныя вождѣленія занимаютъ неизмѣнно первое мѣсто въ жизни Лаврецкаго, и онъ или апатиченъ, или прямо несчастливъ и немогъ, если нѣтъ пици его романическому чувству.

Неподготовленность къ жизненной дѣятельности—другая типическая черта Лаврецкаго. Онъ сравнительно рано, въ молодые годы, сознаетъ пробѣлы своего воспитанія и усердно принимается пополнять ихъ. Для этой цѣли онъ въ 25 лѣтъ поступаетъ въ университетъ, а въ первые, счастливые годы супружеской жизни опять принимается за самообразование и полъ-дня сидитъ за книгами и тетрадами. Тургеневъ, къ сожалѣнію, не указалъ намъ, что это были за книги, и мы не можемъ сказать, подъ какими вліяніями создавалось міровозрѣніе Лаврецкаго, но нѣкоторыя черты его опредѣленно отмѣчены авторомъ и какъ нельзя болѣе характерны для „лишнихъ людей“. Онъ весь проникнутъ благородными порывами, настроеніями, онъ даже ушелъ сравнительно съ Рудинымъ впередъ, ибо постоянно занятъ мыслями о живой дѣятельности: въ Парижѣ, на примѣръ, посѣщая лекціи и занимаясь переводомъ одного ученаго сочиненія, онъ все думаетъ о томъ, какъ вскорѣ вернется въ Россію и примется за дѣло; тѣ же мысли посѣщаютъ его по возвращеніи на родину. Но Тургеневъ не даромъ замѣчаетъ, что Лаврецкій врядъ-ли сознавалъ, въ чемъ собственно состояло дѣло, указывая этимъ на туманность и неопредѣленность его возрѣній, если только дѣло касалось практическаго примѣненія ихъ къ жизни. Его душа, какъ и у Рудина, исполнена благородныхъ порывовъ, но нѣтъ у него строго продуманнаго, разработаннаго на основаніи близкаго знакомства съ родной жизнью плана дѣйствій, у него „мечты, но не думы“.

Однако къ концу романа Лаврецкій нашель, наконецъ, точку приложенія своихъ силъ и „имѣлъ право быть собою довольнымъ: онъ сдѣлался дѣйствительно хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; онъ, насколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ быть своихъ крестьянъ“. Но эта новая дѣятельность, удовлетворившая духовно Лаврецкаго, не возродила всего его существа. „Онъ,—замѣчаетъ авторъ,—утихъ и постарѣлъ не однимъ лицомъ и тѣломъ, постарѣлъ душою“. „Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь“—таковы послѣднія слова Лаврецкаго въ концѣ романа; изъ нихъ ясно, что онъ сознаеть себя непригоднымъ къ жизненной борьбѣ и добровольно уступаетъ мѣсто молодому поколѣнью, которому „надобно дѣло дѣлать, работать“. Для этого дѣла, работы, онъ, какъ и Рудинъ, не годится, онъ такой же „лишній человѣкъ“, какъ и разсмотрѣнные выше его современники.

Славянофильство и западничество и его отраженіе въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“ Тургенева.

Гамлетъ Щигровскаго уѣзда, Чулкатуринъ, Рудинъ, Лаврецкій—все это типичные представители поколѣнія сороковыхъ годовъ. Въ ихъ лицѣ Тургеневъ далъ намъ художественное изображеніе той части русскаго общества, которая не была въ состояніи погрузиться съ головой въ мутныя волны реакціи Николаевской эпохи. Но, конечно, „лишними людьми“ далеко не исчерпывался весь составъ тогдашней русской интеллигенціи. На ряду съ ними была огромная группа „благополучныхъ росіянъ“, сознательно или безсознательно исповѣдовавшихъ теорію официальной народности. Кромѣ того, на общемъ мрачномъ фонѣ русской жизни 30-хъ и 40-хъ годовъ яркой полосой выступали еще два общественныхъ теченія: западничество и славянофильство. Сложившись въ это время въ опредѣленные общественно-политическія міровоззрѣнія, горячо враждовавшія между собою, они и позднѣе, вплоть до нашихъ дней, играютъ болѣе или менѣе видную роль въ исторіи развитія русскаго общества и, въ сущности говоря, являются тѣми основными формами, въ которыя выливается общественно-политическое міровоззрѣніе русскаго человѣка. „Ловець момента“ И. С. Тургеневъ въ своемъ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“ далъ нѣсколько штриховъ, прекрасно характеризующихъ оба эти направленія. Чтобы судить о томъ, насколько вѣрно схвачены имъ особенности западничества и славянофильства, необходимо ознакомиться съ ихъ характерными чертами. Удобнѣе всего это сдѣлать, прослѣдивъ вкратцѣ ихъ исторію. Начнемъ со славянофильства.

Еще Герценъ въ „Быломъ и Думахъ“ очень вѣрно замѣтилъ, что славянофильство, или руссизмъ, не какъ теорія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ противодѣйствіе исключительно иностранному вліянію, существовало у насъ со времени обрѣтія первой бороды Петромъ Великимъ. Дѣйствительно, корней славянофильства нужно искать въ стремленіи нѣкоторой части русскаго общества и народныхъ массъ сохранить незбылемыми исконныя начала древней Руси и вытекающей отсюда враждѣ къ Петровской реформѣ и связаннымъ съ

нею западнымъ вліяніямъ. Эти настроенія проходятъ черезъ весь 18-й вѣкъ и находятъ свое выраженіе, напримѣръ, въ стрѣльцкихъ бунтахъ и въ личности Софіи, въ царевичѣ Алексѣѣ, въ русской партіи при Аннѣ Іоанновнѣ и Елизаветѣ Петровнѣ, въ такихъ лицахъ, какъ князь Щербатовъ, Шишковъ и т. п. Но во всемъ этомъ были только зачатки той стройной и законченной системы взглядовъ, которая извѣстна подъ именемъ славянофильства. Нужны были соответствующія условія, чтобы безсознательныя, почти инстинктивныя симпатіи и антипатіи людей стараго вѣка развились въ законченное міровоззрѣніе. Условія эти заключались, прежде всего, въ тѣхъ философскихъ идеяхъ Запада, которыя служили предметомъ безконечныхъ споровъ въ московскихъ кружкахъ 30-хъ годовъ. Въ этихъ кружкахъ сплошь и рядомъ дебатировались вопросы, относящіеся къ области философіи исторіи, какъ, напримѣръ, объ отношеніи міра восточнаго къ западному, православія къ католицизму и протестанству и т. п. Вотъ что, напримѣръ, говоритъ Самаринъ, одинъ изъ участниковъ въ этихъ кружкахъ, гдѣ впервые зародилось западничество и славянофильство, какъ опредѣленная общественно-политическія теоріи: „Въ это время общество московскихъ ученыхъ и литераторовъ распалось на два кружка... Оба кружка не соглашались почти ни въ чемъ. Тѣмъ не менѣе, ежедневно сходились, жили между собою дружно и составляли какъ бы одно общество“. Перечисливъ затѣмъ философскія темы спора, Самаринъ говоритъ, что предметомъ обсужденій были также вопросы о томъ, „какъ относится православная церковь къ латинству и протестанству..., наконецъ, въ чемъ заключается разница между русскимъ и западно-европейскимъ просвѣщеніемъ, въ одной-ли степени развитія или въ самомъ характерѣ просвѣтительныхъ началъ?“. Въ этихъ спорахъ уже намѣчались западническая и славянофильская точки зрѣнія. Однако, полнаго раскола между кружками еще не было.

Внѣшней причиною къ ихъ полному разьединенію послужило знаменитое „Философское письмо“ Чаадаева, помѣщенное въ московскомъ журналѣ „Телескопъ“ за 1836 годъ. Въ своемъ „Письмѣ“ Чаадаевъ съ поразительной силой и яркостью выразилъ доведенное до крайности отрицательное отношеніе къ Россіи съ точки зрѣнія западниковъ. Это былъ безпощадно рѣзкій приговоръ надъ Россіей и русской жизнью въ ея настоящемъ и прошломъ. „Мы никогда не шли вмѣстѣ съ другими народами,—писалъ, между прочимъ, Чаадаевъ,—мы не принадлежимъ ни къ одному изъ великихъ семействъ человѣчества, ни къ Западу, ни къ Востоку, не имѣемъ преданій ни того, ни другого. Мы существуемъ какъ-бы внѣ времени, и всемірное образованіе человѣческаго рода не коснулось насъ... Нѣтъ въ памяти чарующихъ воспоминаній, нѣтъ сильныхъ, наставительныхъ примѣровъ въ народныхъ преданіяхъ... Въ самомъ началѣ у насъ дикое варварство, потомъ грубое суевѣріе, затѣмъ жестокое, унизительное владычество завоевателей, владычество, слѣды котораго въ нашемъ образѣ жизни не изгладились совсѣмъ и донынѣ... Пробѣгите взоромъ всѣ вѣка, нами прожитые, все пространство земли, нами занимаемое,—вы не найдете ни одного воспоминанія, которое-бы васъ остановило, ни одного памятника, который бы высказалъ вамъ протекшее живо, сильно, картинно. Мы живемъ въ какомъ-то равнодушіи ко всему, въ самомъ тѣсномъ горизонтѣ, безъ прошедшаго и будущаго“. Указавъ затѣмъ, что западно-европейская жизнь выработала облагораживающія человѣчество идеи, Чаадаевъ говоритъ: „Хотите знать, что это за идеи? Это идеи долга, закона, правды, порядка... Онѣ—необходимыя начала міра обще-

ственного. Вот что составляет атмосферу Запада; это болѣе, чѣмъ исторія, болѣе, чѣмъ психологія; это физиологія европейца. Чѣмъ вы замѣните все это?... Общій законъ челоѣчества не для насъ. Отшельники въ мірѣ—мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него, не приобщили ни одной идеи къ массѣ идей челоѣчества— „ничѣмъ не содѣйствовали совершенствованію челоѣческаго разумѣнія и исказили все, что сообщило намъ это совершенствованіе“.

Для насъ, живущихъ послѣ напечатанія этого письма чуть не три четверти вѣка спустя, когда историческое прошлое Россіи и вся ея жизнь безъ труда можетъ предстать предъ нами въ научномъ освѣщеніи, представляется болѣе, чѣмъ очевидной вся несправедливость суроваго приговора Чаадаева. Только тяжелая Николаевская эпоха, въ которой задыхались лучшіе люди страны, могла заставить Чаадаева отнестись съ такимъ жестокимъ скептицизмомъ къ настоящему и прошлому горячо любимой имъ родины и не найти ни одного свѣтлаго луча въ ея существованіи. Такимъ образомъ, безнадежный скептицизмъ Чаадаева и его друзей и ихъ глубокое убѣжденіе, что спасеніе Россіи въ неустанномъ слѣдованіи по стопамъ Запада, создались, въ значительной степени, на почвѣ полного разочарованія въ настоящемъ.

Но если одни искали спасенія въ распространеніи образованности и культуры Запада, то другіе видѣли его въ развитіи коренныхъ началъ, заложенныхъ въ историческомъ прошломъ русскаго народа. Но и тѣ и другіе пока еще не отмежевались вполне другъ отъ друга. Письмо Чаадаева положило рѣзкую грань между ними. Впечатлѣніе, произведенное имъ на общество, было огромно. По словамъ Герцена, ни одно литературное событіе не производило такого огромнаго вліянія и не вызывало такихъ толковъ, какъ „Философическое письмо“. Дотолѣ мертвое, апатичное общество со страшнымъ озлобленіемъ напало на его автора, дерзнувшаго такъ оскорбительно отозваться о Россіи. Особенно задѣты были, конечно, люди, уже сознательно стоявшіе на другой точкѣ зрѣнія. Письмо это заставило ихъ организовать, выяснитъ въ видѣ стройной теоріи свое міровоззрѣніе. Это были братья Кирѣевскіе (Иванъ и Петръ), Хомяковъ, Аксаковъ (Иванъ и Константинъ), Шевыревъ, Погодинъ, Самаринъ, Валуевъ и др. Мало по малу въ ихъ статьяхъ и сочиненіяхъ выясняется постепенно теорія, сложившаяся въ 40-е годы въ стройное, законченное міровоззрѣніе. Въ изложеніи академика Пыпина ученіе славянофиловъ, вкратцѣ, представляется въ такомъ видѣ.

„Русская жизнь находится въ настоящую минуту въ ложномъ положеніи. Петровская реформа нарушила естественный ходъ старой русской жизни; заимствованіе чужой цивилизаціи внесло въ нее разладъ... Для спасенія русскаго развитія должно уничтожить этотъ разладъ и подчиненіе чужой цивилизаціи... Слѣдуетъ обратиться къ народу, чтобы найти нужные намъ элементы развитія“.

Въ чемъ-же заключаются особенности русской народной жизни?

„Русскій народъ принадлежитъ къ одному изъ двухъ міровъ, на которые дѣлится европейская образованность, и въ настоящее время главный его представитель. Эти два міра—восточный и западный“. Между ними глубокое, коренное различіе въ самомъ характерѣ культуры. Западно-европейская культура есть результатъ трехъ слагаемыхъ: древне-римской образованности, римской церкви и завоеванія, которое опредѣлило бытовыя формы жизни Запада. Вся образованность и литература

Западной Европы носить сухой, разсудочный характер; та-же внѣшняя разсудочность извратила въ римской церкви элементы истиннаго христіанства; наконецъ, государственная жизнь Запада, въ основѣ которой лежало завоеваніе, и въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи не могла обойтись безъ насилій, революціи, борьбы различныхъ общественныхъ группъ. „Совсѣмъ иной порядокъ вещей является въ восточномъ, греко-славянскомъ мірѣ, главнымъ представителемъ котораго является теперь русскій народъ“. Прежде всего, на долю русскаго народа выпало великое счастье получить отъ грековъ православную вѣру, которая неизмѣнно хранитъ въ себѣ вселенское преданіе. Отъ тѣхъ-же грековъ воспринялъ онъ и древнюю образованность, очищенную и просвѣтленную духомъ Христова ученія. Не меньшую разницу замѣчаемъ мы и въ области государственнаго устройства. Въ основѣ русской государственной власти лежитъ не завоеваніе, какъ это было на Западѣ, а добровольное призваніе князей. „У насъ не было насилія, соединеннаго съ завоеваніемъ, а потому не было феодализма, не было той внутренней борьбы, какая постоянно дѣлила западное общество, не было сословій, земля была не личной собственностью феодальной аристократіи, но принадлежала общинѣ...; развитіе шло естественно; религіозное сознаніе было основною нравственною силою и руководствомъ въ жизни... Государство было обширной общиной, власть принадлежала царю, представлявшему общую волю; тѣсная связь общины выражалась соборами, всенароднымъ представительствомъ, смѣнившимся древнія вѣча“. Но Петръ Великій своими реформами заглушилъ эти исконныя начала русской жизни и, направивъ Русь на путь подражанія Западу, тѣмъ самымъ внесъ болѣзненный разладъ въ ея существованіе. Чтобы жизнь пошла своимъ естественнымъ ходомъ, нужно вернуться къ началамъ древней Руси, нужно обратиться къ народу, смириться передъ нимъ, принять его правду, перевоспитаться (Пыпинъ. Характеристики литературныхъ мнѣній, с. 257—260).

Такова, вкратцѣ, сущность ученія славянофиловъ, какъ она выразилась въ сочиненіяхъ его представителей. Многіе изъ современниковъ, не раздѣлявшихъ ученія славянофиловъ, видѣли въ нихъ сторонниковъ официальной народности и на этомъ основаніи тѣмъ съ большимъ ожесточеніемъ нападали на нихъ. Но ихъ противники были неправы. Духъ славянофильства и официальной народности были рѣзко противоположны другъ другу. Доказывается это лучше всего тѣмъ, что наиболѣе видные дѣятели славянофильства далеко не пользовались расположеніемъ всячески поддерживавшаго официальную народность правительства времени Николая I, а нѣкоторые изъ нихъ и не мало пострадали за свои убѣжденія. Новѣйшій историкъ русской литературы г. Андреевичъ такъ говоритъ о славянофилахъ, и его слова могутъ считаться выраженіемъ установившагося въ наукѣ взгляда на нихъ: „Никакой ненависти и раздраженія противъ первыхъ славянофиловъ питать нельзя. Напротивъ, трудно не видѣть въ нихъ людей, дѣйствовавшихъ или, лучше сказать, мыслившихъ по побужденію благороднаго сердца. „Ложь не осквернила уста ихъ“. Они не были холопами и не выслуживались ни передъ кѣмъ... Въ критикѣ существующаго они шли рука объ руку съ лучшими умами своего времени. Они искренно ненавидѣли крѣпостное право, черную неправду судовъ, произволь чиновниковъ... Они превосходно понимали, что намъ, русскимъ, надо работать и работать. Они первые узаконили гражданскіе мотивы въ поэзій въ лицѣ К. Аксакова, Ив. Аксакова и Хомякова, которые въ этомъ отношеніи были предшественниками Некрасова. Они вполне

раздѣляли взглядъ Бѣлинскаго на реальные, общественныя задачи литературы и критики“. Къ этому нужно добавить, что славянофилы настойчиво указывали современному обществу на необходимость сближенія съ народомъ, изученія его исторіи, быта, характера, идеаловъ. Полные горячаго энтузіазма и глубокой вѣры въ народную правду, они первые „пошли въ народъ“ и своими трудами много содѣйствовали изученію Россіи, составивъ цѣнные сборники произведеній безыскусственнаго народнаго творчества и собравъ массу разнообразнаго этнографическаго матеріала. Этими несомнѣнными заслугами первыхъ славянофиловъ передъ потомствомъ искупаются тѣ ложныя стороны ихъ ученія, которыя внесли въ русскую жизнь не мало превратныхъ понятій, вполнѣ опровергнутыхъ исторической наукой. (См. объ этомъ въ названной выше книгѣ А. Н. Пышина главы VI и VII-я).

Сущность направленія, извѣстнаго у насъ подъ именемъ западничества и ведущаго свое начало, какъ опредѣленная теорія, отъ „Философическаго письма“ Чаадаева, можетъ быть формулирована въ немногихъ словахъ: мы должны итти по стопамъ Западной Европы, стать ея учениками. Какъ и славянофильство, западничество носило болѣе или менѣе различныя оттѣнки у различныхъ его представителей, но сущность его одна и та-же у всѣхъ.

Въ 30-е и сороковые годы между сторонниками этихъ двухъ міровоззрѣній происходили ожесточенные споры, которые содѣйствовали болѣе полной разработкѣ и обоснованію каждаго изъ нихъ. Въ своемъ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“ Тургеневъ далъ намъ нѣсколько штриховъ, прекрасно характеризующихъ эти два основныя общественныя теченія 40-хъ годовъ. Въ Лаврецкомъ мы находимъ черты, въ которыхъ не трудно видѣть отпечатокъ славянофильства.

Нѣкоторые его взгляды напоминаютъ собою славянофильское ученіе. Особенно сказались эти взгляды въ разговорѣ Лаврецкаго съ Паншинымъ о томъ, по какому пути должна пойти Россія. Рѣчь Паншина—типичный образчикъ такъ называемаго западничества, которое вылилось у насъ въ опредѣленное общественно-политическое міровоззрѣніе въ тридцатые и сороковые годы. „Россія,—говорилъ онъ,—отстала отъ Европы; нужно подогнать ее... У насъ изобрѣтательности нѣтъ... Слѣдовательно, мы поневолѣ должны заимствовать у другихъ... Мы больны оттого, что только на половину сдѣлались европейцами; чѣмъ мы ушиблись, тѣмъ и лѣчиться должны... Всѣ народы, въ сущности, одинаковы, вводите только хорошія учрежденія—и дѣло съ концомъ“. Лаврецкій спокойно, не возвышая голоса, разбилъ Паншина на всѣхъ пунктахъ. „Онъ доказалъ ему невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеаль хотя бы отрицательный; привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе; требовалъ прежде всего признанія народной правды и смиренія передъ нею,—того смиренія, безъ котораго и смѣлость противъ лжи невозможна“... На вопросъ раздосадованнаго Паншина, что же онъ намѣренъ дѣлать, Лаврецкій отвѣчаетъ: „пахать землю и стараться какъ можно лучше пахать ее“, и этими словами указываетъ на то, въ чемъ, по его мнѣнію, заключается поле дѣятельности для истинно-русскаго человѣка. Но самъ онъ только инвалидомъ могъ вступить на это поприще...